КОРОЛЬ ЖИЗНИ

KING OF LIFE

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Романизированная биография Оскара Уайльда. «Короля жизни» критика называет одним из лучших польских биографических романов, который стоит в одном ряду с книгами такого мастера этого жанра, как Андре Моруа. Парандовский признавался, что, воссоздавая какую-либо историческую личность, он всегда стремился как следует вжиться в образ. Он близко к сердцу принял трагизм судьбы Оскара Уайльда, и потому ему так ненавистны злой демон поэта, каким оказался на деле лорд Альфред Дуглас, «дитя с медовыми волосами», а также его отец — маркиз Куинсберри, составивший для англичан правила бокса, но имевший весьма сомнительные представления о кодексе чести.

-
- Ян Парандовский
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

Ян Парандовский
Король жизни

I

В середине прошлого века дом на Меррион-сквер считался одним из красивейших в Дублине. Темно-красный его фасад был виден издалека, почти с такого же расстояния, на какое простирался вид из закругленных сверху мавританских окон — вид на сады, площади, широкие улицы. То был дом состоятельный, почтенный и знаменитый. Проживал в нем сэр Уильям Уайльд, специалист по глазным и ушным болезням, самый известный в городе врач.

Часы на башнях еще не успевали пробить восемь утра, как двери дома со стуком открывались. Остановившись на крыльце, доктор одним взглядом определял погоду и спешил в город. Неряшливый в одежде, с неподстриженной бородой, с лохматящимися под старой, обтрепанной шляпой волосами, он наполнял шумной своей веселостью дома пациентов и палаты больниц, из которых несколько он сам основал и содержал. Проницательность ученого, смелость и ловкость рук с тяжелыми, всегда чуть грязными пальцами — словно ему некогда было отмыть их от рукопожатий нищеты, с которой он сталкивался,— снискали ему славу несравненного хирурга. Все, за что он ни брался, он делал со страстью, был ненасытен в труде, ненавидел покой, отличался такой же пылкостью в любви и в развлечениях, как и на заседаниях коллег-ученых, которых выводил из равновесия своим задором, страстностью, инициативой. Он основал издание «Даблин квортерли джорнал оф сайенс», и опубликованные там трактаты обеспечивают ему доныне титул отца современной отологии. В молодости он совершил путешествие по Средиземному морю и описал это в книге, выдержавшей несколько изданий. С той поры доктор часть своего времени посвящал литературе. Он любил свой край и знал его так, как до него не знал никто, изъездил его вдоль и поперек, оставляя мимоходом молодым хуторянкам живые сувениры. Был он авторитетом во всех вопросах, касающихся прошлого Ирландии, ее искусства, архитектуры, топографии. Наполеон III советовался с ним на предмет кельтских древностей, принц Уэльский, будущий Эдуард VII, посещал дублинский музей в его сопровождении, от шведского короля он получил орден Полярной Звезды.

Поздно вечером дверь его кабинета открывалась в соседнюю комнату, где под бюстом своего великого деда, Мэтьюрина, окруженная книгами и тетрадями, работала леди Уайльд. Она была женщина мечтательная, романтичная, экзальтированная.

Девичью свою фамилию, Элджи, она считала искаженной формой от Алигьери и причисляла Данте к своим предкам. Высокая, черноволосая, голубоглазая, она, казалось, сошла с фресок Санта-Мария-Новелла. Она читала на латыни и на греческом, успокаивала Эсхилом разыгравшиеся нервы. В юности она под псевдонимом «Операнда» писала стихи и политические статьи. В год Весны Народов она бросила лозунг борьбы за свободу Ирландии. «Страна наша!» — восклицала она в статье «Alea jacta est»[1]. Этот номер журнала «Нейшн» был конфискован, а редактора привлекли к суду. Во время судебного заседания с галереи донесся возглас: «Я виновна!» — и мисс Франческа Элджи, пробравшись через толпу, предстала перед трибуналом. Ее никак не наказали, но с тех пор она прослыла героиней, и в городе ее встречали приветственными кликами. Выйдя замуж, она от этих дел отошла, старалась, чтобы о них забыли, особенно когда муж получил дворянское звание и орден Святого Патрика. Она переводила французские и немецкие романы назидательного содержания, упорядочивала собранные доктором материалы.

16 октября 1854 года леди Уайльд родила сына, которому при крещении были даны имена Оскар, Фингал, О'Флаэрти, Уилс. Это был второй сын после намного старшего Уильяма. Леди Уайльд хотела дочку. Мальчика наряжали девочкой, говорили о нем «она», покуда не появилась та, что «кружила по дому, словно золотой луч».

Ей дали красивое имя: Изола. Но вскоре, после недолгой болезни, она умерла. Оскар, сам еще ребенок, спрятал на память прядку ее волос в конверте, который разрисовал крестиками да веночками и написал на нем слова из Евангелия от Марка: «Она не умерла, но спит».

Отец брал его с собою в поездки по Ирландии. Они посещали старых знакомых доктора, сельских учителей, собиравших для него народные песни и предания, сведения об обычаях, о памятниках древности. Разговоры велись о всяких страшных вещах, об упырях, о древних королях и героях, отец с сыном бродили среди заросших травою могил, осматривали ветхие церкви, ходили вдоль рек, где отец, бывало, усаживался с удочкой на долгие часы. По вечерам сэр Уайльд выпивал с друзьями на постоялых дворах и в гостиницах, потом будил сына на заре, чтобы показать ему восход солнца, а если случалась гроза, до полуночи не давал мальчику спать, пока гремел гром и сверкали молнии. Оскар возвращался к матери простуженный.

Когда ему исполнилось десять лет, отец отвез его в Эннискилл и определил в знаменитую Портора-скул. Город располагался на острове, посреди светлых зод озера Эрне, а

школа была серьезная, строгая, истинно английская, враждебная ирландским национальным чувствам,— протестантские священники, чтение псалмов, проповеди. Оскар сразу поступил в третий класс. Ученик он был посредственный, поздно вставал, заглядывался на пролетавших над озером птиц, читал романы Дизраэли и, тоскуя по домашней неге, возмущался строгостью школьной жизни. Когда же наконец привык, оказалось, что он отстает по арифметике и не может справиться с письменными работами. Мать в письме напоминала ему:

«Оскар, дорогое мое дитя, не рви одежду. Рвать одежду — это само по себе еще не признак гения. Старайся писать, как пишет твоя мать, веди себя так, как ведет себя твоя мать, будь правдив, честен, чувствителен, прямодушен, благороден, и тогда, порвешь ты платье или нет, это не будет иметь значения. Кроме того, сынок, усердно занимайся арифметикой. Вспомни, когда ты в первый раз делал сложение, я нашла у тебя ошибку. Вместо одного ты прибавил д в а — это подобает только извозчикам. Чем была бы жизнь без арифметики? Подумать страшно!»

Первые строки письма относились скорее к старшему брату, которого к началу занятий приходилось прямо вытаскивать из земли, будто корень, облепленный комками грязи. Оскар же в том, что касалось наружности, никогда не заслуживал упреков. Опрятный, аккуратный в одежде, с красиво зачесанными волосами над светлым лбом, он носил свой школьный цилиндрик не по воскресеньям, как прочие мальчики, а каждый день. Товарищам не раз хотелось нарушить совершенную гармонию его галстука, повязанного искусным узлом, однако, глянув на сильные руки Оскара, задиры отходили в сторону. Несмотря на некоторую полноту, Оскар был подвижен, но-в развлечениях участия не принимал, разве что иногда греб; в крикет не играл, чтобы не становиться в некрасивые позы, презирал гимнастику и ее преподавателя. Зато очень много читал, начинал преклоняться перед Суинберном; жизнь книжная интересовала его больше, нежели действительность. Он не знал, суждено ли ему стать великим поэтом или великим художником, но во всяком случае верил, что свершит нечто великое. Решение было наконец принято, когда до Эннискилла докатились отголоски траура по скончавшемся Диккенсе; тут Оскар с невероятным терпением принялся трудиться над своим почерком, чтобы он был четким, красивым и необычным. Всегда веселый, остроумный, он превосходно говорил и рассказывал, придумывал злые прозвища для товарищей и учителей. У него самого прозвища не было, его звали просто «Оскар», и никто его не любил. А вот у старшего брата, неряшливого, шумного Вилли, были друзья в каждом

классе.

В последний школьный год ему внезапно открылась красота греческой жизни. Древние тексты расцвели. Во всем пульсировал ритм гекзаметра. Невыразимая прелесть исходила от слов, стихов, имен. Подобно дверям храма, душа открывалась на восток. Солнце странствовало по карте греческих городов и островов. Оскар смешивался с толпою эфебов, чьи тени ложились на желтый песок палестры. С тех пор он на всю жизнь проникся культом молодости, выражение которого нашел у греков. В снах своих он был жрецом юного Зевса в Эгее, священнослужителем Аполлона Исменийского и предводителем процессий Гермеса в Танагре, несущим на плече ягненка,— то всегда были юноши, удостоенные награды за красоту; он шел в толпе молодых людей на торжества Аполлона из Филе, и в Мегаре, у могилы Диокла, его награждали венком за прекраснейший поцелуй. Он рассказывал об Александре и Алкивиаде такое, чего не было в истории, потому что сам становился Александром и Алкивиадом, а когда говорил о римских императорах, слова его светились багрянцем.

Слушал его один лишь маленький Г. О., златокудрый, молчаливый друг. Один он проводил Оскара на поезд, когда тот покидал Эннискилл. В вагоне, когда раздался последний свисток кондуктора, он схватил горячими ладонями голову Оскара и поцеловал его в губы. Потом выскочил из поезда уже на ходу, оставив на щеках Уайльда следы своих слез.

Вернувшись в Дублин, Оскар стал стипендиатом в колледже Троицы. Нравы в интернате были грубые. Школяры шлялись по кабакам, проводили ночи у кельнерш и в публичных домах. Сдержанный, изысканный в манерах Оскар все три года ни с кем не дружил, запирался в своей тесной, темной комнатке, где единственным украшением был неоконченный пейзаж собственной работы, а свободные дни проводил у родителей.

В субботние вечера там собирался «весь» Дублин. Еще до сумерек опускали шторы на окнах и зажигали лампы с розовыми абажурами. Увядшее, напудренное лицо леди Уайльд казалось свежее, большие, черные глаза сияли. К волосам был приколот венчик из золотых лавровых листьев, на пышной груди, прикрытой старинными кружевами, среди ожерелий, брелоков, подвесок красовался целый ряд медальонов и миниатюр, наподобие фамильной галереи. В широком кринолине, опоясанная парчовым восточным шарфом, с флакончиком духов и кружевным платком в одной руке и огромным веером в другой, она проплывала среди толпы гостей, неся свою пылкую восторженность в самые дальние углы гостиной. Ее мысль всегда

была прикована к героям, к высокой поэзии, к великим деяниям.

Сэр Уильям возвращался домой поздно ночью. Обычно шумный, громогласный, он входил тихо и осторожно, но Оскар, в такие дни спавший дома, просыпался при звуке крадущихся шагов. Отец останавливался возле него, окруженный запахами сигар, вина и незнакомых духов.

— Оскар, Оскар,— шептал отец,— ни один золотой рудник не сравнится с сокровищами сердца твоей матери.

Уайльд окончил колледж Троицы с золотой медалью за работу о фрагментах греческих комедиографов, а за предыдущий год несколько раз получал стипендию — высшее отличие в этом учебном заведении. Ее безуспешно добивался соученик Оскара Эдвард Карсон, который навсегда запомнил и свою неудачу, и торжество Уайльда. 17 октября 1874 года Оскар приехал в Оксфорд.

С удивлением рассматривал он при бледном свете осеннего солнца зубчатые стены вокруг старинных учебных зданий, построенных в стилях шести веков, дворы с шумящими фонтанами, дремлющие колокольни на повороте каждой дороги, мирные стада ланей, пасущихся среди гигантских вязов, лебедей на озере и схожие с лебедями полосы тумана, плывущие по далеким лугам. Радостной тишиной наполнял его вид окон в изящных решетках, а когда он спустился на первый свой обед в зал, сводчатый, как храмовый неф, ему почудилось, будто его внезапно перенесли в еще не нарушенный сон средневековья.

Ученье в первый год шло легко и не отнимало много времени. В восемь утра обедня в часовне, потом беседы с наставником и несколько лекций, а после полудня весь остаток дня принадлежит тебе. Оксфорд напоминал клуб аристократической и богатой молодежи. У сыновей лордов был особый стол и разные мелкие привилегии, другие студенты старались сравняться с ними хотя бы в роскоши. Каждый второй имел собственных лошадей, собак, лодки, устраивал охотничьи вылазки и скачки, выписывал дорогую мебель, задавал пирушки, кончавшиеся пьянством и картежной игрой.

Средства Уайльда были слишком скромны, чтобы тягаться с товарищами. И потому он избрал опасный и чарующий путь совершенной обособленности. Внешне он ничем не выделялся. Быть может, носил чуть подлиннее волосы, скромно, впрочем, зачесанные назад, костюм был хорошего покроя по последней моде, под отложным воротником фланелевой сорочки галстук спокойного тона и серый Ольстер в осенние холода. Когда же Оскар появлялся в котелке и в костюме из клетчатой ткани, его можно было принять за живую иллюстрацию образа англичанина,

каким он представляется на континенте. Только в движениях была какая-то осторожность, словно он избегал соприкосновения с прохожими, а когда он говорил, глаза его блуждали поверх голов слушателей. Слегка прикрытые веки придавали сонное выражение, которое в те времена настолько было ему свойственно, что на одном из юношеских портретов — где он полулежит, окутанный мягкой тканью,— он похож на спящего Эндимиона. В его увлечениях пустяками явно была некая чрезмерность, порожденная, возможно, тем, что, не будучи богатым, он хотел придать наивысшую ценность всему, чем владел. Но еще чаще эта чрезмерность была проявлением пробудившейся впечатлительности. Некоторые цвета, запахи так сильно действовали на его чувства, что могли приводить его в печальное или радостное настроение, и какие-то предубеждения так и остались в нем. Хоть физически он был весьма силен, однако не занимался греблей, не плавал, не увлекался боксом, его ни разу не видели ни на одном ринге. Все это казалось необычным и раздражало.

Однажды на него напали, скрутили и втащили за ноги на холм. Он встал, отряхнул костюм.

— Вид отсюда действительно превосходный,— сказал он ровным, мягким голосом, которому в ту пору старался придавать томную протяжность.

Оказалось, впрочем, что и слабость и сила зависят от непредсказуемых капризов ирландского великана. В другой раз он нанес позорное поражение четверым пьяным коллегам, которые ворвались в его жилище и стали там безобразничать. В мгновение ока трое из них покатились по лестнице вниз головой, а четвертого Оскар вынес на руках, как ребенка. Впредь уже никто не отваживался переступить его порог без приглашения.

В колледже Магдалины он занимал три комнаты, выходившие на реку Чарвелл, прошитую мостом Святой Магдалины, и на обсаженную столетними тополями широкую белеющую дорогу. Он распорядился расписать у себя плафоны, на обшитых панелями стенах развесил гравюры, изображавшие обнаженных женщин, камин украсил старинный фарфором в синих тонах. Фарфором этим он так суеверно восхищался, говорил о нем с таким религиозным пылом, что заслужил осуждение — без упоминания имени — университетского проповедника, который с амвона проклял «непристойное язычество, состоящее в культе синего фарфора». Уайльд собрал немного книг— красивые издания классиков, с широкими полями, в старинных переплетах. По вечерам, когда Старый Том заканчивал отбивать сто один удар старым своим сердцем и когда

запирали все ворота, товарищи сходились у него пить пунш, коньяк с содовой и курить сигары. Их было всего несколько. Говорили об искусстве, лекции по которому читал вдохновенный Рескин.

Два раза в неделю этот английский Платон говорил об итальянском искусстве в своем музее среди колонн, расцветавших английским вереском. Задолго до лекции зал бывал полон, издалека наезжало множество посторонних, особенно женщин, слушатели сидели на окнах и низких шкафчиках, из-за толпившихся у входа нельзя было закрыть дверь. Профессора встречали рукоплесканиями. Он появлялся в обществе нескольких ближайших учеников, непомерно высокий, в длинной черной тоге, которую сразу же сбрасывал и оставался в обычном синем костюме. Молчаливым поклоном и взглядом удивительно светлых голубых глаз он усмирял собравшихся. Затем раскладывал на кафедре минералы, монеты, рисунки, которые собирался показывать, и наконец, из шелеста рукописных страниц начинали исходить тщательно отделанные фразы, произносимые лектором слегка нараспев, с опущенными глазами и сопровождаемые скупыми и однообразными жестами.

Продолжалось это недолго. Постепенно Рескин забывал о своих листках, которые еще минуту назад переворачивал тревожными пальцами, взгляд его пробегал по глазам слушателей, голос набирал силу и вся сдержанность жестов исчезала — он подражал полету птицы, колыханию деревьев во время бури, руками чертил зигзаги молний, его светлое, гладкое, почти без морщин лицо загоралось румянцем, от растрепавшихся длинных, густых волос и черной бороды веяло буйной силой, словно от человека лесов и гор. В этом экстазе мысль его преодолевала множество ухабов и неожиданных поворотов, возникал тот же волшебный лабиринт, что и в его книгах, идеи, образы, неожиданные сравнения переворачивали весь мир, живой и мертвый, слова росли, как растет на склоне утеса дерево, неспособное определить направление своих ветвей, ибо это совершают ветры и потоки по своей необузданной фантазии.

В пламенных видениях развертывался златотканый хоровод флорентийского искусства. Сладостные имена: Чимабуэ, Джотто, Брунеллески, Кверча, Гиберти, Анджелико, Боттичелли — слетали с изящно очерченных уст, как лоскутки итальянского неба. Каждый день кто-нибудь иной был «величайшим художником всех времен». Под веяниями этого энтузиазма мельчайшая искра божья превращалась в пожар духа. Рескин сражался за веру, у которой никогда не было ни крестоносцев, ни мучеников, за веру в красоту. Красота становилась настолько

вездесущей, что даже уличная грязь рассыпалась алмазами, сапфирами, рубинами.

Вне дома, впрочем, совершались и другие дела. В дождь и холод поздней осени Рескин проповедовал евангелие труда. Под его надзором ученики мостили дорогу вблизи Хинкси.

— Ничто так не развивает честность, терпение и прямоту характера, как неустанная борьба с упорным и неподатливым материалом,— повторял он над каждой груженной камнями тачкой.

Никогда еще при подобной работе не ломали столько лопат, и Рескину пришлось признать, что эта улица — одна из худших во всем королевстве. После работы он потчевал учеников завтраком.

— Вот я нахожусь здесь,— говорил он,— и хочу преобразить мир. Следовало бы, однако, начать с себя. Я хочу свершить труд святого Бенедикта, и мне надо бы самому быть святым. А я живу среди персидских ковров и картин Тициана и пью чай сколько мне угодно.

Не только чай был превосходен, но и чашки отличались красотой. В своей изысканно обставленной квартире Рескин был совсем другим, чем на кафедре. В его чуть застенчивых глазах светился насмешливый огонек.

— Если бы вы когда-нибудь прочитали хоть десяток моих стихотворений внимательно, вы бы поняли, что я не больше думаю о мистере Дизраэли и о мистере Гладстоне, чем о паре старых сапог.

Это было сказано для любителей толковать о политике. В его присутствии забывали обо всем, что так или иначе не относилось к красоте. Рескин говорил о тайнах драгоценных камней, о клубящихся весенних облаках, о жизни деревьев, цветов, трав, говорил со страстной любовью, которая без малейшего усилия переносилась от полей и садов к расписанным холстам, смешивая дела рук человеческих и творения природы в едином преклонении. Когда ж наступала пора расстаться, он провожал своих гостей чуть влажным взглядом и, стоя на пороге, кричал:

— Да, да, для меня камни всегда были хлебом! — Или: — Безумие не видеть красоты в ласточке и воображать ее себе в облике серафима.

Уайльд, думавший о серафимах, искал в воздухе ласточек. Но их не было среди осеннего тумана, а когда они вернулись, уже не было Рескина.

Оскар находился возле него слишком мало, чтобы вполне его понять. Евангелическое милосердие Рескина нагоняло на него скуку.

— Не говорите мне о страданиях бедняков. Они неизбежны.

Говорите о страданиях гениев, и я буду плакать кровавыми слезами.

Встретив нищего в старом сюртуке и неимоверных размеров цилиндре, Уайльд повел его к портному и заказал ему нищенский наряд в духе лучших полотен старых мастеров. Рескин, разумеется, не стал бы заниматься совершенствованием лохмотьев бедняка, но позаботился бы о его пустом желудке. Впрочем, этот жест балованного барича также был свидетельством влияния Рескина. Уайльд заимствовал у него преклонение перед красотой, любовь к искусству, столь исключительную и восторженную, что неописуемый ужас охватил его при словах учителя: «Лучше пусть погибнут все картины во всем мире, чем чтобы ласточки перестали лепить гнезда». Бесспорно, уютные сады и нарядные парки Оксфорда пробудили его душу настолько, что он поддался очарованию поэзии Вордсворта — и сам впоследствии ее иногда продолжал, но в конце концов от связи с природой осталось у него не больше, чем цветок в бутоньерке да слегка однообразный растительный орнамент его произведений, пахнущих комнатной флорой.

Каникулы Оскар проводил в Италии. Уезжая, он не уносил отечества на подошвах — уже тогда жила в нем глухая неприязнь к Англии, отчего воздух заграницы всегда был ему приятней. Милан, Турин, Флоренция, Падуя, Верона, Венеция, Равенна, Рим являлись взору подобно девам «Золотой лестницы» Берн-Джонса в наморщенных ветром туниках, в венках из листьев, обрамляющих лучистые, как весенние облака, головы. В галереях, музеях, дворцах он обретал все свои грезы. В нефах древних базилик, где блещет почерневшее золото мозаик, у алтарей, цветущих лучами свеч, средь леса витых колонн дышали чары католической церкви. С той поры Оскар так и не освободился от ее обаяния, особенно из-за присущего ей тяготения к чувственной рельефности духовного, к воплощению духа в великолепном и незаменимом множестве предметов, лиц, событий, которыми обросло это вероисповедание, столь отличное от пуританства.

«Таинство ежедневного жертвоприношения, поистине более страшного, чем все жертвоприношения древности, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству, наших чувств, а также первобытной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориану нравилось преклонять колени на холодных мраморных плитах и глядеть, как священник в тяжелом узорчатом облачении медленно отодвигает бескровными руками завесу дарохранительницы или возносит усыпанную драгоценными камнями, похожую на фонарь, дароносицу с белой

облаткой,— которая иногда и впрямь кажется тебе panis caelestis, хлебом ангелов,— или, в облачении страстей Христовых, преломляет гостию над чашей и, сокрушаясь о своих грехах, бьет себя в грудь. Дымящиеся кадильницы, которыми, как большими золотыми цветами, махали одетые в пурпур и кружева мальчики с серьезными лицами, завораживали его. Выходя из храма, он с любопытством поглядывал на черные исповедальни, и ему хотелось сидеть там, в мглистой их полутьме, и слушать, как мужчины и женщины шепчут сквозь истершиеся решетки правдивую историю своей жизни».

Эти слова Уайльд написал сам и с мыслью о себе. Он едва не обратился в католичество, но передумал, опасаясь, что отец перестанет посылать ему деньги.

У сэра Уильяма, однако, хватало своих огорчений. Он попал в некрасивую историю из-за молодой пациентки, им соблазненной, которая, убедившись, что он не будет ее содержать, обвинила его в изнасиловании. Это поколебало его положение и дух. Он отошел от общественной жизни, стал пить больше, чем прежде, и сгорал, как коптящий огарок. Умер он в 1876 году.

Когда он лежал на катафалке, каждое утро три дня подряд приходила неизвестная женщина в трауре, в густой вуали, садилась подле покойника и в полной неподвижности, не говоря ни слова, оставалась дотемна. Дублин проводил доктора на кладбище Моунт-Джером с большой пышностью. Леди Уайльд переселилась в Лондон, где легче было скрыть скудость средств, которые ей доставляла пожизненная пенсия. Оскару отец завещал деревенский домик с участком, не приносивший и двухсот фунтов в год. Можно было все же расплатиться со студенческими долгами да еще поехать в Грецию в обществе профессора Мэхаффи.

Они не пропустили ни одного музея, ни одной реликвии. Уайльд, который с тех пор не желал знать иных богов, кроме созданных рукою человека, вдыхал язычество всеми порами. Но о самом путешествии и его обстоятельствах он никогда не обмолвился ни словом. Ни в его произведениях, ни в беседах, записанных друзьями, нет прямых упоминаний, относящихся к этим месяцам, которые показались ему такими короткими, что он опоздал в Оксфорд к началу полугодия и уплатил штраф в несколько десятков фунтов. По-видимому, там, в Греции, он испытал действительно глубокие впечатления. Его ладони уже не забыли таинственной влажности терракотовых фигурок, которые откапывались в ту пору на рыжих полях Танагры. Греческий пейзаж заполнил его воображение, обретя более живые краски и какое-то благоуханное изобилие.

Был в Оксфорде некто, способный еще ярче осветить эту картину. В колледже «Брейзепоуз» жил Уолтер Патер, «человек одинокого сердца», как называли его студенты. То был нелюдим, стеснявшийся своей уродливости, тяжкой для него, как грех против обожествляемой им красоты. Немногие могли похвалиться, что собственными глазами видели его одинокое жилье. Оно было почти легендой: узкая, вроде монашеской кельи, комната, стены, окрашенные в желтый цвет, цвет увядших березовых листьев, черные двери, вокруг камина орнамент из золотистых веток, на столе ваза с цветами и.под нею осыпавшиеся лепестки. В послеполуденные часы, когда солнечный свет даже зимою наиболее ровен и бел, между часом и тремя, после конца университетских занятий, феллоу Уолтер Патер забывал о лекциях, студентах, ученых спорах и частицу тихого этого счастья отдавал друзьям.

Одним из них был Оскар Уайльд. Он приносил с собою ту Грецию, которой Патер не знал, и они сразу углублялись в тайны Деметры и Персефоны — предмет размышлений Патера в то время. Он встречал гостя улыбкой — и этим лоскутком детской нежности как бы смахивал безобразие некрасивого своего лица с комично торчащими, пышными усами. Беседуя, он разводил руки округлыми жестами священника у алтаря, и белизна его пальцев наводила на мысль, что он мог бы ими касаться святых даров, что, быть может, на то и были они предназначены хрупким своим изяществом. Говорил Патер негромким, сонным голосом, прикрыв глаза, но, когда перед ним был Уайльд, предпочитал слушать, чувствуя в голосе гостя более глубокую мелодию,— под ровными, спокойными словами как бы струился быстрый и шумливый поток.

Нелегко отгадать, что дали друг другу эти два человека,— как в той комнатке цвета увядших березовых листьев, так и на каменной скамье под старым вязом, откуда был вид на реку с купающимися голыми мальчиками, но, вероятно, молчанье Патера говорило больше, чем увлеченная болтовня Уайльда. В молчании этом как-никак таилось красноречие великолепных, незабываемых страниц «Ренессанса». Книга покорила Оскара надолго. Она явилась в пору формирования его наклонностей и так долго была в нем жива, что уже у предела своего пути, в тюрьме, он писал о ней, как о чем-то молодом и свежем. А тогда, в Оксфорде, он брал из нее мысли целыми охапками.

«...Если все ускользает из-под наших ног, что ж остается нам, как не привязанность к каждой причудливой страсти, к каждой вести, что на миг словно расширяет горизонт и освобождает ум, ко всему, что волнует наши души: удивительные краски,

необычные запахи, творения художников, лицо друга?

...Раз мы сознаем упоительность наших ощущений и ужасающую их недолговечность, сосредоточимся всем существом в отчаянном усилии смотреть и слушать, и у нас не останется времени для теорий о том, что мы слышим и видим. Надо нам беспрерывно и с неутомимым любопытством примерять новые суждения, искать новых впечатлений и никогда не удовлетворяться легко доступной ортодоксальностью...

...Мы не должны поддаваться теории, или идее, или системе, которая требовала бы от нас пожертвовать хоть частицей наших ощущений ради чуждого нам дела, или ради уважения к некой абстракции, ничего общего с нами не имеющей, или, наконец, ради чистой условности.

...Речь идет прежде всего о том, чтобы, расширяя нашу жизнь, охватить в ней возможно больше. Великие страсти, экстаз и страдания любви или различные формы энтузиазма — бескорыстны они или нет, все равно,— дарованные некоторым из нас от рожденья, могут дать нам впечатление интенсивной жизни. Только надо убедиться, что это поистине страсть и что плод, ею приносимый, действительно создает ощущение многократно умноженной и более напряженной жизни. И ничто не может дать нам этого ощущения в большей степени, чем страсть поэтическая, стремление к красоте, любовь к искусству ради искусства: ведь искусство приходит к нам с одной-единственной целью: украсить быстротекущие часы нашей жизни; оно приходит из чистой любви к этим мимолетным часам...»

Из круговорота подобных фраз, развернутых на новой мелодии чистейшей английской прозы, проступает видение преображенной, необычной жизни, которое Оскару предстояло понести в мир, простиравшийся за горизонтом его двадцати двух лет.

Пришло время первых стихов. Сетования похищенных троянок, описания статуй и картин, греческие или латинские надписи, длинные и замысловатые. Он печатал ихв дублинском «Айриш Монтли» или в университетском «Коттейбос». Подписывался «О.Ф.О.Ф.У.У.» — начальными буквами всех своих кельтских имен. Потом настали дни изысканных сложностей баллады, роскошных трудностей сонета, дни вилланел со звучными повторами, восхитительные минуты пробуждения в твоей душе триолета, неизъяснимое наслаждение мерять слова музыкою каждого их слога.

— Почему вы все время пишете стихи? — спрашивал Уолтер Патер своим мягким голосом.— Почему бы вам не попробовать прозу? Проза настолько труднее!

Но Оскара не интересовало преодоление трудностей. Наделенный необычайной памятью, он, как пчела цветы, высасывал книги, которых едва касался на лету. Стоило ему хоть раз прочитать греческое выражение, он уже никогда его не забывал. На экзамене профессор предложил ему перевести 27-ю главу «Деяний апостольских»— обычная ловушка, так как это место, описывающее приключения святого Павла на море, изобилует редкими морскими терминами. Уайльд перевел безошибочно и спросил, можно ли читать дальше.

— Мне хотелось бы узнать, что стало со святым Павлом.

— Как? Вы никогда не держали в руках греческого текста Нового завета?

— Сегодня — первый раз в жизни.

К концу курса он написал поэму «Равенна» и получил университетскую награду. Это были пятистопные стихи, гладкие и слегка риторические. Начиналась поэма картиною английской весны с пеньем дроздов среди лиственниц, а заканчивалась под пиниями Равенны бегством дриад и козлоногим, играющим на свирели Паном. Уайльд прочитал свою поэму в оксфордском театре великолепным тенором и впервые в жизни сошел с подмостков под аплодисменты и возгласы восторга — несколько ошеломленный, как человек, сходящий с корабля.

II

На другой день после приезда в Лондон Оскар появился в Гайд-парке между пятью и шестью вечера и добился того, что среди нескольких тысяч экипажей прежде всего замечали его нанятый на час тильбюри, стоивший ему чуть ли не последней кроны. То было исполнение обетов предыдущей ночи, которую он провел один на один с городом. Наняв в одиннадцать вечера коляску, он предоставил вознице полную свободу в борьбе с тишиной и тьмой. Над туманом и испарениями столицы светила луна, еще плотнее смыкая угрюмые дома по сторонам однообразных улиц. Человек тонул в этой бездушной пучине, полной камней и кирпича. Казалось, во всем словаре человеческом нет заклятия, способного смутить безразличие каменных громад, сплотившихся в своем сне наподобие неприступной крепости. И все же ночная поездка завершилась внутренним триумфом: погружаясь в себя, Оскар дышал прошлым — словно прохладным ароматом леса.

Теперь же он ехал спокойный и радостный, в полной гармонии с тем новым миром, краешек которого мелькнул на горизонте его мечтаний. На нем был короткий бархатный спенсер, сорочка из мягкой ткани с отложным воротником, длинный, причудливый галстук, атласные штаны до колен, шелковые чулки, неглубокие туфли с серебряными пряжками, на голове берет, в руке подсолнечник. В таком костюме, который Оскар считал второй после Лютера великой реформой, он и вошел, будто корабль под неведомым флагом, в чопорное викторианское общество.

Квартиру он снял себе на Солсбери-стрит, в квартале литературной богемы,— две меблированные комнаты, заурядное, бедное убежище, куда он никого не пускал, да и сам редко там бывал, кроме часов сна и зеркала. То был период тесной дружбы с зеркалом. Оскару не надоедало непрестанно рассматривать себя. Всегда уверенный в своей внешней привлекательности (он сохранил эту уверенность даже тогда, когда уже ничто не могло ее оправдать), он с зорким любопытством актера изучал в особенности свое лицо: в прищуре глаз, в складке рта, в смене улыбок он искал впечатлений, восторгов, страстей, которые жаждал испытать. Он настолько был поглощен собою, что во всем, что говорил или писал, чувствовался какой-то наклон,— Нарцисс, склоненный над своим отражением.

Небольшую ренту он проживал в два-три месяца, делал долги, не платил по счетам, чем надолго запомнился в

купеческих кругах. Если нужны были деньги, писал статьи, а брат Уильям помещал их в газетах, в которых работал. Таким способом трудно было заработать много — при гордости Оскара, его чувствительности и порядочности. Но он и не собирался тратить жизнь на накопление вещей или их символов. Жить — значит заниматься самым редкостным делом в мире, где большинство только существует. Жизнь представлялась особым искусством, требующим собственной формы и стиля. Он хотел быть чем-то исключительным и будоражащим, хотел совершать дела, неожиданные для умов, погрязших в логике будничного бытия.

Он называл себя учителем эстетики. Скромный этот титул, который в другом месте навел бы на мысль о дипломах и учебниках, в Лондоне восьмидесятых годов вызывал тревогу. Люди сведущие полагали, что эстетика состоит из подсолнечников и скучающей мины, а все прочие, знакомые со снотворными порошками «анэстетикум», считали ее возбуждающим средством и, глядя на высокого, длинноволосого юношу с гладким лицом и вихляющими бедрами, не сомневались, что речь тут идет о чем-то безнравственном. Им занялись сатирические журналы, «Панч» каждую неделю изображал его с подписью в стихах или в скверной прозе.

Вскоре вокруг него собралось общество праздных и способных к беспредельному восхищению молодых людей. Выросшие в сумраке и бедности домов, где красота была неведома, воспитанные в презрении к искусству, они увидели в Оскаре апостола нового радостного откровения. Он великодушно делился с ними обрывками лекций Рескина и собственного, весьма широкого, круга чтения. И всегда прибавлял несколько практических советов, шутовских парадоксов.

— Первый долг в жизни— быть как можно более искусственным. Каков второй, этого никто не знает,— произносил он торжественным, слышным во всем кафе голосом, и у его молодых почитателей мурашки пробегали по спине от удовольствия при виде того, как ежились и ворчали, спрятавшись за газетами, старые джентльмены.

Чувствуя в себе склонность жить как джентльмен, не по-богемному, он одну из своих комнат на Солсбери стрит — «длинную» — превратил в гостиную, украсил коврами, драпировками, портретами знаменитых актрис.

Он бывал на каждой премьере, сидел за кулисами, дружил с артистами и артистками, посылал им сонеты и наконец выступил с банальнейшим дебютом: влюбился в актрису.

Хорошенькая эта девушка стала в его романтическом воображении символом волшебного дара перевоплощения,

которым он восхищался в людях театра. Целуя ея уста, он целовал Розалинду, Джулию, Порцию, Беатриче. Счастье было бы неполным, если бы его не украшали сравнения, образы античных статуй и стихи поэтов. Она же разделяла восторги Оскара с известной оглядкой. Ей хотелось перейти с захудалой сцены в большой театр, и она полагала, что Уайльд ей в этом поможет, так как принимала его за влиятельного журналиста. Убедившись, что просчиталась, она невезение свое приписала его эксцентрическим нарядам и, чувствуя себя обманутой, порвала с ним. Оскар перенес удар спокойно, вплел ее образ несколькими мастерскими стихотворениями в мифологический мир и в дальнейшем вспомнил о ней лишь тогда, когда создавал Сибиллу Вейн в «Портрете Дориана Грея».

Все возраставшее любопытство окружающих открыло ему двери нескольких великосветских салонов. Он входил в них с чувствами Люсьена де Рюбампре и на пороге повторял слова бальзаковского героя: «Вот мое королевство, вот мир, который я должен покорить». Он не давал слушателям времени задуматься над тем, откуда это выражение гордости в каждом его взгляде,— он всегда умел говорить как бы с пьедестала собственного памятника. Среди черноты фраков Оскар выделялся не только причудливым нарядом, но гораздо больше — необузданным темпераментом. Он был ирландцем — и всем, что в нем было тонкого, поэтичного, радостного, словно говорил этим скучным англичанам: «Да, господа, на моей стороне история. У ирландцев давно уже была христианская цивилизация, когда англичане еще не прикрывали свое тело ничем, кроме татуировки». Его правоту готова была признать не одна леди, которой в момент рассылки приглашений попадалось его имя. Эта пара смеющихся глаз за столом избавляла от опасений, что разговор перейдет в политическую стычку или провоняет конюшней да охотничьим порохом.

Его глаза! Они были большие и лучистые, но цвет... Не нашлось бы двух человек, державшихся одного мнения. Одни говорили, они зеленые, другие— светло-голубые, а те, кто хотел примирить оба мнения, уверяли, что глаза — светло-голубые с золотыми точечками по радужке, из-за чего иногда кажутся зелеными. Сторонники карих перебирали все оттенки, вплоть до цвета ореховой древесины или пива. «Мне довольно того, что они сверкают, как драгоценные камни,— говорила одна леди.— Что там на самом деле, я не знаю, у меня слишком слабое зрение, чтобы видеть на высоте шести футов».

Покорить мужчин было труднее. Они поддавались его веселости, не сопротивлялись щедрому красноречию, но все это

не ослабляло их чопорности. Его обвиняли в снобизме, потому что он мог целый вечер с непонятным увлечением говорить о вещах никому не известных, например, о стихах Бодлера. Кипучая умственная жизнь, которою он со всеми делился без оглядки, с увлеченностью своих двадцати лет, воспринималась как оскорбление людьми, признающими право на ум только на высоком посту или на куче золота. Они не знали, что о нем думать. В мещанских домах он слыл аристократом, высшие круги относились с пренебрежением к сыну дублинского окулиста, для одних он становился невыносим, как только они замечали его превосходство, другие склонны были считать его милым шутом. Но даже в самом холодном кружке всегда находилось несколько человек достаточно искренних, которые к нему льнули, смутно чувствуя, что должно же быть в чем-то оправдание его необычности.

Такое оправдание он дал в томике «Стихотворений», опубликованном летом 1881 года издательством Дейвида Богэ. Книгоиздатель на улице Святого Мартина даже не заглянул в рукопись. Эта стопка страниц была для него обычным сборником первых стихов, которые приносил ему каждый второй выпускник Оксфорда, чтобы впоследствии не вспоминать о них иначе, как в шутку. Уайльд, по-видимому, в конце концов сам оплатил расходы первого издания. Он позаботился о красивом шрифте, голландской веленевой бумаге, о переплете из белого пергамента — книга стоила десять шиллингов и шесть пенсов.

То был памятник его восхищения природой, искусством, литературой, а революционная риторика в начале книги пристала к этим изысканным стихам, как комки дублинской почвы, как пыль из чулана давних убеждений леди Уайльд. Под вычурными заголовками, в словах, отобранных тщательнейшим образом, в искусных извивах синтаксиса отразились все увлечения последних лет: путешествия, музеи, книги, великие люди, любовь. Греческое солнце всходило у берегов каждой строфы. Колокола итальянских церквей прорезали белую тишину эллинских храмов посреди миртов и лавров; на земле, словно цветущей дифирамбами золотому веку, боги, статуи, поэты, святые сплетались в вереницы имен, сравнений, намеков. Казалось, над этой юношеской книгой витают все познания Оксфорда, вся английская поэзия от Мильтона до Суинберна,— слишком много можно было в ней различить заимствованных звуков.

Несмотря на враждебную или равнодушную критику, в несколько недель разошлись четыре издания. Успех, какого не знал ни один сборник стихов в Англии, объясняли бархатным беретом, карикатурами «Панча» и несколькими пьесами, в

которых Уайльд под разными именами появлялся в роли шута и говоруна. Но самую большую известность принесла ему оперетта «Терпение». В ней Оскар был удостоен высокой чести — его высмеивали вместе со всем эстетским движением, в обществе прерафаэлитских поэтов, художников и женщин, наряженных в зеленые платья. Игравший его актер вышел на сцену в точной копии его костюма, с позолоченной лилией в руке и так верно подражал его жестам, поведению, мимике, что пошел слух, будто сам Уайльд школил его для этого выступления. Уайльд был на премьере и смеялся вместе со всеми. Несколько месяцев Лондон распевал:

«Что тебе мещан сужденье!
Средь высоких душ стремленье
Ты к эстетским штучкам сей,
Шествуя по Пиккадилли
С ветвью золоченых лилий
В длани рыцарской своей».

Теперь Оскар ходит под взглядами, узнающими его издалека. Он слышит шепот на улицах и знает, что говорят о нем. Долго ли удержатся в памяти этого огромного города три кратких слога его имени? Какой ветер разнесет их по свету? Вот уже начались отдаленные кварталы — человек поливает цветы в саду, при виде странного наряда он на миг останавливается, смотрит и пожимает плечами. Он не знает ни куплетов из оперетты, ни этой юной знаменитости, проходящей мимо с такой великолепной улыбкой.

Оскар пересекает сад, потом большой зеленый луг и заглядывает в окно заросшего плющом дома. Дважды стучит по стеклу, кланяется и через минуту взбегает по ступеням крыльца. В глубине холла молчит большой орган. Сэр Эдуард Берн-Джонс, сидящий в своем красивом кресле, отдаляет от глаз книгу. Переплетенный в пергамент томик с пожелтевшими, обтрепанными по краям страницами, всегда один и тот же — «История короля Артура»; он читает эту книгу уже тридцать лет и даже сейчас не откладывает в сторону, только берет в левую руку, чтобы правую протянуть гостю. Но это не просто рукопожатие. Старый художник прикосновением этим как бы втягивает Оскара в мир своих грез и вместо пустых слов, которыми люди обычно приветствуют друг друга, осыпает гостя цветами легенды.

В комнате сгущаются сумерки, но еще достаточно светло, чтобы Оскар мог разглядеть на подрамнике новый холст, и на нем «Dies Domini»[2] весь сотканный из крыльев. В полумраке крылья

блестят, будто хрустальные. Сэр Эдуард говорит:

— Чем более материалистическим становится мир, тем больше я пишу ангелов. Их крылья — мой протест против материализма.

Служанка заносит лампу, вслед за нею входит Уильям Моррис. Оба художника беседуют. Оскар сидит неподвижно. Начинается мистерия воспоминаний. Сквозь слова двух друзей видна длинная дорога времени. Появляющиеся на ней фигуры за четверть часа превращаются из юношей в стариков. Вот идет Данте Габриель Россетти, худощавый, с ниспадающими на плечи черными волосами, с бородой, подстриженной, как у неаполитанских рыбаков, с горящими глазами,— пламенный дух поэзии, который в этот миг блуждает в тьме кромешной, одинокий, изнуренный, не знающий сна. Идет ангелоподобный Джон Эверетт Миллэ, задорный, пылкий, пышущий здоровьем,— теперь он баронет и владелец замка среди садов Кенсингтона. Идет сосредоточенный, серьезный Холмэн Хант, паломник искусства, который как прежде шел, так и ныне покорно и добросовестно следует тропами природы и путями, начерченными перстом божьим. К ним присоединяются еще несколько имен, осененных тою же творческой мыслью, и Оскар готов пожертвовать своей молодостью ради того, чтобы очутиться в 1847 году в старом доме на Блэкфрайерс-Бридж, где перед копиями Орканьи и Беноццо Гоццоли семеро посвященных создавали «Братство прерафаэлитов».

Назвали они себя так не потому, что подражали ранним итальянским мастерам, но потому, что нашли в их творениях, вместо абстракций Рафаэля, более строгий реализм, более страстное и живое видение, более рельефную и мощную индивидуальность. Жест банальный и невыразительный они заменили необычным, индивидуальным, нестертым жестом, краски клали чистые, сухие, без грунтовки, рисовали и писали не по унаследованным образцам, но в простоте сердца воспринимая натуру со всеми ее непредвиденными особенностями. Оскар слышал об этом, мог даже об этом говорить и, наверно, рассуждал об этом во всяких кафе, но никогда не старался это понять. Как для каждого литератора, картина начиналась для него с того момента, когда вопросы техники уже решены. Тогда остаются роскошь красок и богатое, интересное, волнующее содержание. Какое наслаждение смотреть на «Долю Корделии» Мэдокса Брауна со старым королем, из чьей одряхлевшей руки выпадает скипетр, с покоряющей жизненностью десятка фигур, пропитанных стихами Шекспира, или присутствовать при прощании «Гугенота» Миллэ, или с «Надеждой» Уоттса

раскачиваться на пустынном и темном земном шаре, или дышать жаркими устами женщин Россетти!

Часы в мастерской Берн-Джонса были периодом сонетов. Оскар проникся мыслями всех этих задумчиво склоненных голов, знал прикосновение этих тонких рук, изогнутых в доныне не изображавшемся движении.

Юноши, заполнявшие лоснящиеся холсты, были как робкие боги, которые впервые спустились на землю и ступают по ней осторожно, мягко, будто опасаясь камней или колючек. Несказанной прелестью дышали картины, полные цветов и птиц, где жизнь во всех ее видах таилась в ветвях, в складках одежд, в развалинах, словно все это изображало только май — пору песен и цветения. Когда старый волшебник набирал на кончик кисти капельку золота, чтобы воткнуть в волосы Вивианы золотую шпильку, Оскар чувствовал дрожь в душе, будто в нем самом открывался ларец с драгоценностями, а потом рассматривал как собственные сокровища все эти кружева, вышивки, безделушки, искусную резьбу по дереву среди ослепительной процессии символов.

Целиком поглощенный мыслью об успехе, он, однако, не писал ничего такого, что хоть как-то было бы связано с его тогдашними чувствами. Рассчитывая на театральные знакомства, на шум вокруг убийства царя Александра и вокруг русских революционеров, он сочинил драму с прологом «Вера, или Нигилисты», о которой писал одному из театральных директоров: «Я старался выразить в пределах, допускаемых искусством, титаническое стремление народов к свободе, которое в современной Европе грозит тронам и подрывает правительства от Испании до России, от северных морей до южных. Нынешняя нигилистская Россия со своей грозной тиранией и чудом своих мучеников — это жаркий, огненный фон, на котором живут и любят люди моей драмы». Однако ни возвышенный образ Веры, ни смутный гул заседания совета министров во втором акте, ни пуля, через открытое окно разящая царя в голову, ни окровавленный кинжал, падающий в сад перед последним занавесом,— ничто не подействовало на воображение режиссеров, и ни один театр этой пьесы не поставил.

Согласился было взять ее театр Адольфи, но в последнюю минуту репетиции были прекращены — вероятно, по желанию принца Уэльского, близкого родственника вдовствующей императрицы, опасавшегося, что сцена убийства царя будет ей неприятна. Уайльд издал «Веру» на собственные деньги в небольшом количестве экземпляров, которые раздал друзьям.

От гонорара за «Стихотворения» давно уже ничего не

осталось, увеличить ренту было невозможно, писать статьи в газеты надоело, и слишком дорого стоили перчатки и экипажи, в которых он возвращался с вечерних приемов в свои комнатки на Солсбери-стрит. Между тем за океаном уже с месяц ставили оперетту Гилберта и Салливена, и внезапно появившаяся заметка в «Уорлд» была с этим как-то таинственно связана. В ней говорилось о том, что м-р Оскар Уайльд получил приглашение на цикл лекций в Америке и что в ближайшее время он отправляется в Нью-Йорк. Редактором «Уорлд» был Вилли, брат Оскара, а эту заметку сочинил сам Оскар. Правдой в ней было лишь то, что Оскар действительно готовился к поездке. Говорили, будто он должен служить живой иллюстрацией к опереточным куплетам, сразу ставшим модными на Бродвее. Он же глубоко верил в свою миссию — ведь он намеревал

с я говорить американцам о «ренессансе английского искусства». Представлялась счастливая возможность оторваться от звездной туманности современных эстетских течений, уже меркнущих в глазах Запада, и заблистать на небосводе Нового Света крупной, манящей звездой. Удаляясь от Европы и размышляя о будущих лекциях, Оскар так проникся единством с угасшим «Братством прерафаэлитов», что не только готовился вновь возвестить давно отпылавшие зори, но чувствовал себя пря мо-таки основателем целого движения.

Остановился он в «Сентрал-отеле», где каждый вечер собиралось лучшее нью-йоркское общество — экстравагантно наряженные дамы и мужчины, после обеда снимавшие сюртуки. Англичанин в Америке тех времен был как афинянин среди беотов. Без большого труда Оскар очаровал этих жевателей табака молодостью, юмором и манерами истинного джентльмена. На его выступление в Чикеринг-холл пришло более тысячи человек. Все уже побывали на оперетте «Терпение», и, когда на эстраде появился Уайльд, нарумяненный, в «эстетском» костюме, с лилией в бутоньерке, зал пришел в волнение. Фразами из Рескина, Патера, Арнольда он говорил об искусстве перед публикой, знавшей живопись по литографиям, а скульптуру по фигурам в витринах магазинов. Менее чем за час он успел назвать около пятидесяти великих имен, от Гете до Суинберна. Спокойный, ровный голос, никаких жестов или пафоса — это произвело наилучшее впечатление. Нашелся импресарио, заключивший с ним договор на турне по Америке.

В «Нью-Йорк трибюн» писали о нем так: «Более всего поражает в поэте его рост— на несколько дюймов выше шести футов,— а затем — темно-каштановые волосы до плеч. Когда он смеется, широко открывая рот, виден ряд ослепительно белых

зубов. В отличие от большинства англичан лицо у него не румяное, но скорее матовое, глаза не то голубые, не то светло-серые и отнюдь

не «мечтательные», как воображают некоторые его поклонники, но блестящие и быстрые — совсем не такие, каких следовало бы ожидать у созерцателя красоты и истины. Вместо небольшой, нежной руки, ласкающей лилии,— ручища, которая, сжатая в кулак, может при случае нанести. сокрушительный удар. Особенность его речи — ритмичное акцентирование, словно он постоянно говорит стихами». Отзывы прессы сопровождались бесчисленными рисунками, карикатурами.

Из Нью-Йорка Оскар поехал в Бостон. Газеты сообщали мельчайшие подробности о его манерах, облике, наряде. За несколько дней перед лекцией состоялась премьера «Терпения». Большая группа студентов Гарвардского университета, явилась на лекцию во фраках, коротких штанах, в париках с зелеными лентами, каждый нес лилию или подсолнечник. Они прошли в зал гуськом и с шумом заняли места в первых рядах. Уалльд уже был на эстраде, но в обычном фраке, серьезный и спокойный. Всякий раз, как он подносил к губам стакан с водой, студенты рукоплескали. Под конец он обратился к ним:

«Ваша задача — довершить то, что начали мы. В американском мире есть нечто эллинское; Америка молода. Ни один алчный народ не покушается на вашу свободу, и прошлое не укоряет вас остатками красоты, с которой невозможно сравниться. Вы, господа из Гарвардского университета,— цвет здешней молодежи. Любите же искусство ради него самого. Тогда вы найдете все, чего вам не хватает. И позвольте мне в память о нашей встрече подарить вам «Апоксиомена» Лисиппа, превосходной отливки, с просьбой поставить его в вашем гимнастическом зале».

Студенты удалились .под издевки публики. Многие из них поспешили у выхода спрятать парики с зелеными ленточками.

Дальнейшие переезды все больше отдаляли Оскара от бронзы и мрамора нью-йоркских отелей. В Денвере, за неделю до его выступления, в том же зале застрелили лектора, когда он повернулся к публике спиною, чтобы рассмотреть висевшую позади него олеографию. «Отсюда вытекает,— сказал Уайльд,— что не следует рассматривать олеографии». Еще немного, и он мог бы удостоиться пальмовой ветви мученика за свои эстетические убеждения. В этой влюбленной в себя стране признали недопустимой наглостью его замечание об отсутствии изящества и вкуса в меблировке американских жилищ. В Луисвиле после этого пассажа в его лекции зал издал грозное

рычание, которое стихло лишь тогда, когда Оскар выразил свое восхищение первобытной красотой одежды горняков. С тех пор он был осторожен и больше не спускался из «чистых сфер искусства» на землю, особенно на землю американскую. Единственным утешением для него были насмешки над Англией, которые всюду принимались с шумным удовольствием. После лекций Оскара увозили на попойки, и его крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он не мог завоевать своей прозой. Еще внукам рассказывали об английском поэте, который «мог перепить дюжину горняков, а потом вынести их, взяв на руки по двое враз».

Выступал он в залах, украшенных головами бизонов, и в таких, где вершили суд и вешали преступников, и в таких, где над пианино красовалась надпись: «Просьба не стрелять в пианиста, если он случайно ошибется». Сто пятьдесят раз повторил он свои изысканные периоды об «английском ренессансе» и «декоративном искусстве», не раз выступая перед собранием фермеров, овечьих пастухов, полудиких усатых трапперов и золотоискателей. Проезжал он через заросшие вереском и сорняками степи Небраски, от Канады до Калифорнии посетил девятнадцать городов — некоторые лишь недавно образовались из скоплений больших, крытых холстом фургонов, запряженных несколькими парами мулов с колокольцами, из этих «кораблей прерий», доставлявших население необжитым пустыням Штатов, — и остановился у самых Скалистых гор, на границе владений буйволов, серых медведей, ягуаров, индейцев сиу и панисов.

По пути, в Кемдене, он постучался в накрепко замкнутые, как крепость, двери Уолта Уитмена. Старый поэт в обтрепанном, грязном халате провел его в комнату, заваленную бумагами. Много лет он складывал здесь газеты и журналы, в которых было хоть малейшее упоминание о нем. Запыленные, лежали они на столе и стульях, на полу вдоль стен, под столом. Не найдя свободного стула, Уайльд остался стоять. Невестка Уитмена принесла им по рюмочке вина из бузины. Оскар выпил, «Будь это даже уксус,— говорил он впоследствии,— я выпил бы не колеблясь, так преклонялся я перед великим старцем».

Побывал он и в Канаде, и в Техасе, лето 1882 года провел в нескольких местах морских купаний, всегда окруженный толпою женщин. Он искал среди них актрис, способных заинтересоваться его «Верой» и протолкнуть ее на американскую сцену,— это не удалось. В конце концов он стал жертвой шулеров, проиграл крупную сумму, однако у него хватило трезвости на то, чтобы с уцелевшим остатком, далеко не отвечавшим его мечтам и нуждам, покинуть Америку, которая уже не могла ему дать ничего, если не считать двух красивых вазонов от керамической

фирмы— в знак благодарности 8а увеличение ее оборота пропагандой эстетики интерьера.

Впрочем, возвращался он освеженный, в расцвете сил и здоровья. Эстетский костюм лежал в чемодане, в который он уже никогда не заглядывал. Оскар охотно спрятал бы там вместе с другими вещами и свои лекции, но ему пришлось еще не раз их повторять.

В начале следующего года он поехал в Париж. Поселился в гостинице «Вольтер» на любимом берегу Франса, с Сеной и Лувром перед окнами. Волосы он причесывал a la Нерон, что усиливало сходство черт его лица с лицами императоров на древних геммах, и каждый день подвивал мелкие кудри; одевался, подобно Бальзаку, по моде 1848 года, ходил увешанный брелоками и с тросточкой из слоновой кости, набалдашник которой был отделан бирюзою, носил меховое пальто с зеленым верхом. Обедал в «Кафе де Пари», у Фуайо, у Биньона на Авеню-де-л'Опера, а когда с деньгами бывало туго, брал за несколько франков обед в своей гостинице. «Стихотворения» свои Уайльд разослал с посвящениями самым знаменитым писателям. Спустя несколько недель он завтракал с Гонкуром, пил чай с Бурже в «Кафе д'Орсе», а Ришпен водил его за кулисы. Верлен с изумлением смотрел на этого щеголя, который то и дело зажигал папиросу с золотым мундштуком и так много говорил, что забывал о пустом стакане поэта.

Говорил он слишком много. Папаша Гюго, который был уже в преклонном возрасте и скучал, когда беседа шла не о нем, задремывал. Гонкур в своем «Дневнике» записал несколько анекдотов и перестал заниматься гостем. Порой он еще вызывал восторг у какой-нибудь д амы, которой удавалось узреть как бы светящийся нимб вокруг головы этого краснобая. Постепенно он становился молодым человеком с блестящим прошлым. Для трудолюбивых французских писателей томик стихов на веленевой бумаге был слишком легковесен, чтобы долго обременять их память. C'est un grand avantage de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser[3].

Уайльд заперся в своей гостинице. Тревожное его одиночество заполнила французская литература. Он удалился от усталых и равнодушных взглядов, чтобы жить при блеске глаз, расширенных в исступлении творчества. На белых страницах книг в мягких желтых обложках дышала ярость Бальзака, извлекающего, подобно Богу в Сикстинской капелле, из будничной серости живой мир; сверкал хрусталем чистейшего искусства отшельнический труд Флобера; проступал мастерский рисунок «Эмалей и камей» Готье; звучал строгий ритм Бодлера.

Десятки талантов, чье присутствие он недавно ощущал физически, несли ему тайны своих открытий и взлетов. Неизъяснимое блаженство испытывал он от соприкосновения с жизненным и творческим опытом этих великих людей.

Малейшая происшедшая в нем перемена тотчас отражалась в костюме, в прическе или другой мелкой черточке его облика. Не раз случалось, что какой-нибудь пустяк, вдруг введенный им в свой обиход, придавал ему новые силы. Он заказал себе белый халат, точно такой, какой надевал во время работы -Бальзак. Роберт Шерард, ближайший его друг в ту пору, застал его однажды за письменным столом — перед ним лежал лист отличной бумаги большого формата, какие любил Виктор Гюго. Хотя было еще светло, горела лампа, окна были завешены. Шерард хотел поднять штору.

— Нет! Нет, Роберт! — закричал Оскар.— Оставь так. Мне кажется, будто я сижу здесь целую ночь, и это мне помогает в работе.

— Но ведь ты закрываешь себе прекраснейший вид Парижа.

— Ах, мне это совершенно безразлично. Это интересует только хозяина гостиницы, ведь он включает вид в счет. Джентльмен никогда не смотрит в окно.

— Над чем ты работаешь?

— Над стихотворением. До полудня мне удалось вычеркнуть запятую в одном предложении.

— А после полудня?

— После полудня я вернул запятую на прежнее место. Но полагаю, ты не намерен брать у меня интервью? Знаешь что, Роберт? Ступай-ка в город и найди мне рифму на «ар».

На следующий день Шерард принес ему рифму «ненюфар».

Так возник «Сфинкс» — тяжелые бодлеровские стихи, в которых, как на фризе сновидений, проходят извечные образы кошмаров: морской конь, гриф, Гор с головою ястреба, Пашт со зрачками из зеленых бериллов, Аммон на пьедестале из порфира и перламутра, Нереиды с грудями из горного хрусталя — фантастический зверинец мифов, искрящийся самоцветами, застланный тьмою, поэма, повисшая между «Вороном» По и «Искушением св. Антония» Флобера. Никогда еще Уайльд не работал так напряженно над звучанием каждого стиха, над отбором и местом каждого слова. То был труд ювелира — слова, уложенные в строфы, обладали блеском и огранкой драгоценных камней.

Драгоценности Оскар любил любовью воображения, чувством причудливым и утонченным, порожденным волшебною тайной этих осколков мертвой материи, в которых человечество с

незапамятных времен видело символы чар, молитвы, знания и могущества. Силою непостижимых связей открывались пути от камней, добываемых во мраке недр земных, к звездам, сверкающим во мраке небесном. Сапфиры, бериллы, изумруды, рассеянные божественным случаем в гранитах, гнейсах и слюдяных сланцах, рубины, подобные впитавшимся в изве стковые отложения каплям крови, алмазы, чья непорочная чистота вела свое происхождение из тёмного рода угля — как будто чудом божьим обеленные черти превратились в ангелов,— а вместе с ними и от них происходящее множество звучащих стариною названий,— все эти создания причудливой алхимии скал прилепились к мыслям человека, дабы формой своей или строением подражать формам извечным. В перстне, в ожерелье, в диадеме был заключен целый мир, вечный круговорот, вселенная, а бесконечность воплощалась в змее, держащей в пасти свой хвост,— набедренная повязка колдунов, жрецов и королей. Из сверкающих этих слогов веками складывалось особое Священное писание, чьи идеограммы выражали деяния богов, заклинания, жизнь и смерть, и самый обычный кулон — ныне совершенно мирный, ибо забывший о своей генеалогии,— восходит к временам, когда первый человек вешал на шею зубы убитых животных.

В Лондоне на Олд-Бонд-стрит или на Риджент-стрит, в Париже на Рю-де-ла-Пэ Оскар часами разглядывал витрины ювелиров, и столь сильно было его влечение, что уходил он всегда с чувством обретенного богатства. О драгоценностях он писал и говорил так, будто перед глазами у него стояли полные самоцветов раскрытые ларцы. В воображении своем он владел сокровищницей, содержащей такие вещи, каких не сыщешь у ювелиров,— сапфиры, некогда бывшие глазами статуй, рубины из амулетов с ядом, жемчужины с кубков Клеопатры, алмазы с мечей крестоносцев. Куда бы он ни приезжал — в Англии, в Италии, в Греции, во Франции,— он не пропускал ни одной сокровищницы, если надеялся увидеть там златотканые ризы, раки, венцы, скипетры, перстни с печатями — магические доспехи силы и славы, в которых многие века сражались во имя бога или людей. Он добирался даже до частных собраний, заводил знакомство с владельцами небольших коллекций или торговцами древностями, которые хранили в далеко запрятанных ларчиках, в закоулках огражденных решетками чуланов горсть потемневших драгоценностей, и постепенно приобрел богатства несметные, неподвластные времени и уничтожению. Ими он распоряжался не таясь, но увлеченно рассыпая их во всех своих стихах, расточая в беседах. Он не мог без волнения прикоснуться к крупинке золота,

к драгоценному камню — под пальцами своими он сразу как бы чувствовал ток крови человеческой, которая когда-то на них проливалась. Эти немые, блестящие вещицы могли ведь иметь свою историю, славную, удивительную, трагическую. Странствия драгоценностей столь же неизвестны, как странствия волн морских. В невзрачном жемчужном колье могли ведь оказаться перлы с герцогской шляпы Карла Смелого, а в броши на чьей-то груди — Неронов изумруд, бог весть когда найденный и передаваемый из поколения в поколение теми же безымянными руками, что добывают самоцветы из земли, из моря, из старых могил, из развалин,— словом, из постоянно открытых ладоней случая.

Особенно сильное впечатление испытал Оскар, неожиданно встретив подобные же чувства в купленной им книге. Это была новинка, уложенная широким желтым веером в окне книжной лавки на улице Гренель.

Ж.-К. Гюисманс: «А rebours»[4]. У Оскара так и стоял перед глазами призрак живой черепахи с панцирем из золота и драгоценных камней, сверкающий и мрачный образ, возникший вдруг, словно вырезанный его ножиком из этих страниц, еще пахнущих свежей типографской краской. А когда на 145-й странице он увидел встречу двух молодых людей, потом их смех, молчаливое согласие в их взглядах,— удвоенные удары его сердца завершали каждую из сорока четырех строк, рассказывавших историю их дружбы. Всеми чувствами своими Оскар впитывал эту книгу, содержавшую гимны всем чувствам. Он читал ее до поздней ночи, совершенно одурманенный.

«То была самая странная книга, какую он когда-либо читал. Ему чудилось, будто все грехи мира в роскошных одеяниях проходят перед ним безмолвной чередой под тихое пенье флейт. Образы его смутных снов предстали внезапно, как явь. Душа его полностью сливалась с душою молодого парижанина, который в XIX веке пытается пережить все страсти и образ мышления всех эпох, кроме своей собственной, и соединить в себе разные настроения, пережитые мировым духом. Его равно влекло своей искусственностью то добровольное самоотречение, которое люди неразумно называли добродетелью, как и те естественные порывы к бунту, который разумные люди все еще называют грехом. Стиль, каким это было написано, представлял собою тот сверкающий самоцветами, живой и темный одновременно, полный жаргонных словечек и архаизмов, технических терминов и изысканных перифраз стиль, отличающий творения нескольких утонченнейших художников французской школы символистов. Были там метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же

нежных красок. Жизнь чувств описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было понять, читаешь ли повесть об экстазах средневекового святого, или болезненную исповедь современного грешника. То была книга ядовитая. От ее страниц как бы исходил тяжелый аромат курений— она утомляла ум. Сама интонация фраз, изысканная монотонность их мелодики, сложные рефрены и искусные повторы погружали его в мечтательное состояние по мере того, как он переходил от одной главы к другой».

Первое впечатление было настолько сильным, что возродилось во всей своей свежести, когда Уайльд семь лет спустя в этих словах воспроизвел его в «Дориане Грее». Гюисманс поразил его как внезапно налетевшая гроза. Он высказал все то, о чем Оскар давно думал, причем так, как самому Оскару хотелось бы выразить свои мысли. Стало быть, волшебный мир, где царят наши пять чувств, уже создан, и он, Оскар, открыл его под желтой обложкой случайно попавшейся книги. Нашелся голос, достаточно сильный и свободный, чтобы прославить томление пальцев, ищущих холодного прикосновения драгоценностей, и прихоть глаз, желающих новой гармонии красок, и жажду обоняния, которую можно утолить только гаммой запахов,— нашелся человек, с тем же щедрым обилием искусных слов выискивающий необычные наслаждения гурмана и особые красоты литературы или искусства. То было новое воплощение изобретательного ума римских императоров, занятого трудным искусством жизни, полностью погруженного в заботы утонченной впечатлительности. Под влиянием этой книги у Оскара появилась манящая цель жизни: добавить новые страницы, написанные собственным опытом, инстинктами здорового организма, запечатлеть на огромных просторах мира то, что болезненный Дез Эс сент сочинял в печальной тишине одинокого своего дома. И, как всегда в подобные минуты, ему припомнились слова флоберовой Химеры, слова, которые он никогда не мог произнести без трепета,— бурный рефрен его юности. Он скандировал их, он пел их: «Я ищу новых благовоний, небывалых цветов, неиспытанных наслаждений».

Но, размышляя над финансовой стороной такой книги, бекар быстро осознал, что у Дез Эссента для осуще втвления его капризов были средства, которых ему-то как раз не хватало. Поэмами, где один стих стоит дня Труда, не наживешь богатства. Даже неясно было, найдет ли себе издателя «Сфинкс». «Я собираюсь издать его в трех экземплярах,— шептал Оскар друзьям, словно доверяя интимную тайну.— Один будет для меня, второй — для Британского музея, третий — для неба.

Относительно Британского музея у меня есть некоторые сомнения».

В письменном столе, однако, лежала еще пятиактная трагедия «Герцогиня Падуанская». Действие происходило в обрамлении великолепной ренессансной архитектуры, князья, рыцари, придворные могли выступать в ослепительно роскошных одеждах, драма была во вкусе елизаветинских: кровавые истории с искорками юмора,' гладкий белый стих, немного сочной прозы в разговорах горожан, однако все в целом подтверждало печальную истину, что нет смысла тягаться с Шекспиром, даже после опыта трех веков. Для главной роли Оскар наметил прелестную Мэри Андерсон. Послал ей копию рукописи с любезным письмом. Прошло несколько недель, Оскар потерял терпение и отправил телеграмму. Под вечер, когда Оскар с Шерардом обедали, пришел ответ. Оскар медленно развернул голубой листок, одним взглядом охватил полтора десятка слов вежливого отказа, оторвал краешек телеграммы, смял его в шарик и сунул в рот, как бы желая ощутить вкус неудачи. Но длилось это не более минуты, и он, дунув, выстрелил бумажным шариком:

— Довольно скучное дело, Роберт.

Когда он зажигал папиросу, над желтым, лохматым огоньком спички появилось нечто, приковавшее его взгляд так надолго, что огонь обжег пальцы. Вероятно, то было всего лишь облачко голубоватого дыма, который, однако, в тот миг внезапной, удивительной тишины, объявшей его, преобразился вдруг в бледный овал такого знакомого, самого дорогого лица. Он видел, как она показалась в окне и как проходит под этим окном по длинной улице. Казалось, не хватит сил отвести взгляд от бронзового молотка, висящего на дверях дома. Образ матери всегда вот так всплывал и исчезал в уме Оскара, повинуясь таинственному движению волн его жизни.

На следующий день он уехал из Парижа, Вечером того же дня он был на Парк-стрит, где мать жила вместе со старшим сыном. Как прежде, устраивались послеполуденные приемы при опущенных шторах и все более темных абажурах. Леди Уайльд в старомодном кринолине, потучневшая, со слоем косметики на лице, но пылким взглядом всегда молодых глаз и глубоким восторженным контральто царила в обществе дам и мужчин, в атмосфере, напоенной запахом крепкого чая, табачного дыма и идеализма. Светлое, широкое лицо Оскара появлялось средь этого восхищенного хора, подобно лучезарной утренней звезде.

В идолопоклонстве матери всегда можно почерпнуть толику бодрости, но лучшим прибежищем от неудач было собственное неиссякающее честолюбие. В Лондон он вернулся с более

твердой, чем когда-либо, решимостью приобрести славу и богатство. Поселился Оскар в аристократическом квартале Гровенор-сквер, где снял две комнаты на четвертом этаже на Чарлз-стрит, в старом доме по соседству с «Кобург-отелем». Комнаты были красиво обставлены, на стенах дубовые панели, старинные гравюры в черных рамах. Оскар старался, чтобы его видели в экипаже, в самых шикарных ресторанах, с дорогой папиросой во рту, за бутылкой шампанского. Одежду заказывал на Бонд-стрит, шляпы и перчатки покупал на Пиккадилли, цветы — в Берлингтонских аркадах. За все это нередко приходилось расплачиваться неделей поста, тогда он ночью собирал с пепельниц окурки нескольких дюжин «Парашо», выкуренных за день, закладывал часы, брелоки, трости, даже золотую медаль — премию Беркли.

Ничто, впрочем, не могло смутить его беспечность, беспечность человека, верящего в свою звезду. Один американский издатель предлагает ему пять тысяч долларов за роман в 100 тысяч слов, и Оскар отвечает: «Мне трудно удовлетворить Ваше желание по той простой причине, что в английском языке нет 100 тысяч слов». Какая-то газета посылает ему анкету с просьбой указать десять лучших книг. Оскар на это: «Не могу их назвать, так как пока еще сам не написал столько». Веселье, оживленность, лесть открывали ему несколько раз в неделю двери богатых домов, где, вопреки английским обычаям, ему предоставлялась полная свобода в речах. «Усердно тружусь над своей ленью,— писал он Шерарду,— у меня чередуются поздние ужины и голодные утра. Надо, однако, ослеплять свет, и моя Нероно ва прическа всех ослепила. Никто меня не узнает, все удивляются, как молодо я выгляжу, и это так приятно». Казалось, он будет одним из тех блестящих литературных бездельников, которые уходят, не написав ни одной книги, оставив лишь немного афоризмов, анекдотов да нечто вроде легенды, угасающей вместе с их поколением.

Оскар снова предпринял поездку с лекциями по провинции. Это были те же беседы об «английском ренессансе» и «искусстве убранства жилищ», слегка освеженные рассказом об американских приключениях. Яркие, кричащие афиши привлекали все меньше слушателей. Импресарио готов был повысить гонорар, только бы Оскар опять надел короткие штаны и бархатный берет. Но у него достало самоуважения, чтобы этого не сделать, и вместо денег он привез жену.

Констанция Ллойд, дочь дублинского адвоката, была типичной английской хорошенькой девушкой с каштановыми волосами и глазами цвета фиалок. Скромная, робкая, серьезная,

она, сирота, встретила Оскара восторженно, как сказочного принца, и влюбилась в него без памяти. Уайльд, который за несколько месяцев перед этим намеревался стать послом, находился в той полосе жизни, когда наступает некая усталость, пресыщение, недовольство собой,— словом, часы отлива,— и когда обычно совершаются поступки непоправимые. Он, впрочем, не сомневался, что встретил женщину, о которой мечтал. Все произошло довольно быстро, без помолвки, и, едва возвратившись в Лондон, надо было уже думать о свадебных туалетах.

29 мая 1884 года в соборе святого Иакова, посреди большой толпы собравшихся, появились сперва две младшие подружки, красивые девочки, словно с картин Рейнольдса, в шелковых платьицах цвета спелого крыжовника, опоясанные бледно-желтыми шарфами, в больших красных шляпах с желтыми и красными перьями; за ними шли четыре старшие, в пурпурных шелках и светло-голубом муслине. У всех были янтарные ожерелья, приколотые на груди желтые розы и лилии в руках. Оскар чинно и торжественно вел жену в туго зашнурованном корсете, в атласном платье цвета примул, украшенном миртовыми ветками, с высоким воротником «медичи». Фата была из индийского газа шафранного цвета, букет наполовину зеленый, наполовину белый.

Кончились времена меблированных комнат. Был снят дом на Тайт-стрит и обставлен с большим вкусом, по мнению эстетов, и крикливо и странно, как полагали истые викторианцы.

На первом этаже находился кабинет Уайльда — бледно-желтые стены с панелями красного дерева, в углу, на колонне, копия Праксителева Гермеса, вдоль стен полки с книгами. Из холла дверь вела в столовую: светло-голубой потолок, мебель из дерева желтого цвета, занавеси белые с желтой вышивкой. Здесь оказался наконец на своем месте синий фарфор из Оксфорда, поразительная милость судьбы сохранила его во всех мытарствах по ломбардам.

На втором этаже была гостиная с рисунками Уистлера и японскими вазами, а также более причудливая smoking-room, оклеенная обоями рисунка Уильяма Морриса, где на темно-багряном фоне поблескивало золото. Восточные софы и оттоманки вдоль стен, мавританские портьеры и фонари, на окнах занавеси из стеклянных висюлек. Здесь собирались гости: Джон Сарджент, Рес кин, Марк Твен, Роберт Браунинг, Суинберн, Сара Бернар, не считая менее знаменитых мастеров пера, кисти, театра.

В этой обстановке Уайльд показывал гостям свою жену,

наряжая ее каждый месяц в другой костюм: греческий, средневековый, старовенецианский, голландский, времен Директории. Констанция казалась самой себе одним из созданий, порожденных воображением Оскара, и, будто по магическому его слову, наделенным жизнью.

Советником молодой пары был Уистлер, живший в доме напротив. Человек этот, с виду похожий на мушкетера, преображенного фантазией По, замечательный художник, рисовавший словно бы крылышками ночных бабочек, утонченный, остроумный, с широкими знаниями, был издавна для Оскара идеалом. Судьба сблизила их в несколько слишком тесных границах. Довольно часто случалось, что один входил в комнату, где еще не погас светящийся след блистательных парадоксов другого, так что оба могли видеть друг друга в глазах присутствующих, как в зеркалах, скрывавших различия и усиливавших сходство. Уайльд был настолько прямодушен, что не умел подавлять свое восхищение. Уистлер льстил ему, скрывая пренебрежение. Все кончилось двумя фразами, скрестившимися, как шпаги.

— Уистлер,— сказал Уайльд,— несомненно, один из величайших мастеров, так я считаю и смею прибавить, что таково же убеждение мистера Уистлера.

Когда это передали Уистлеру, он воскликнул:

— Что общего у Уайльда с искусством? Разве то, что он присаживается к нашему столу и подбирает в нашей тарелке изюм из пудингов, который потом развозит по провинции.

И вдруг, будто подобрев, усмехнулся:

— Оскар, милый, безрассудный проказник Оскар, столько же смыслит в картинах, сколько в покрое платья, и смело высказывает чужие взгляды.

Тут все было убийственно: усмешка, жесты, слова — слова изысканные, взвешенные и меткие. Они обошли весь Лондон, который внезапно узнал источник некоторых особенно ярких мыслей Уайльда. Но Оскар теперь мог *об* этом быстро забыть — и дать другим время забыть. То был период нежной супружеской любви. Оскар почти не выходил из дому, а если отлучался на несколько часов, присылал жене письмо и цветы.

Видел он ее несколько иными глазами, чем впоследствии: «Она прекрасна, бела и стройна, как лилия, и глаза ее словно пляшут, и смех ее трепещет и волнует, как музыка». Менее чем за два года она родила двух сыновей, Сирила и Вивиана. Любить жену и детей казалось Оскару занятием легким и приятным, он решил начать жизнь, полную труда и самоотверженности.

III

Приданое Констанции Ллойд состояло из небольшой ренты и надежды на значительное состояние после смерти дедушки. Восьмидесятилетний старик, серьезно заболев, призвал молодую пару, дал ей свое благословение, после чего заново расцвел, наслаждаясь отменным здоровьем.

— У родственников всегда не хватает такта умереть в надлежащую минуту,— изрек Оскар.

Он занял должность главного редактора «Вуменз уорлд», журнала, посвященного модам. Почти два года он писал о всякой всячине — о домашней прислуге, о пишущих машинках, о стенографии,— в бесцветном, скучном стиле, правил рукописи сотрудников, расставлял запятые, следил за соблюдением иерархии имен в описаниях балов и пикников, за благопристойностью в рекламах портных, подчинялся запрету курить в ре дакции. Его обязанностью было раз в месяц давать пятистраничную статью о новых книгах, обо всем этом плоском вздоре, что под именем романов распространял в Англии запах пеленок и пасторского табака. Тут частенько бывала возможность поиздеваться над авторами, которые ему этого никогда не простили и отплатили в дни невзгод. Лишь однажды случилось ему писать о том, что действительно его увлекло. Эту статью он тогда назвал «Чарующая книга». То была книга Лефевра «Histoire de la broderie et de la dentelle»[5]. Цитаты, приведенные из нее в его журнале, он потом переписал в «Портрете Дориана Грея» с теми же ошибками.

Все чаще охватывал его трепет при встрече с любым проявлением роскоши или изысканности. Пышность старины заполонила его воображение, в этой области у него были огромные знания, лишь малая часть которых перешла в его книги. На портретах того времени у него слегка расширенные ноздри и особое выражение напряженного внимания, как будто он хочет впитать в себя все запахи и шорохи земли. Зарабатывал Оскар шесть фунтов в неделю, и это было почти все, что он мог уделить своему страстному любопытству к жизни. И однако Констанции все реже приходилось хлопотать вокруг его друзей с красивым малахитовым чайником в руках. Дети занимали ее время днем, но когда они засыпали, начинались пустые, печальные часы. Она искала утешения в теософии, читала произведения Блаватской. При 8вуке открывавшейся в ночной тишине двери ее охватывал страх, рассеять который не удавалось смеху Оскара. Где он бывал, что делал,— вряд ли могли бы сказать даже самые близкие люди.

Иногда он возвращался в таком странном наряде, что это могло навести на весьма неуместные подозрения.

Врожденный дар привлекать сердца людей если не на всю жизнь, то хотя бы на некоторое время, когда говорят себе: «Я питаю к нему слабость» — что может кончиться назавтра же или длиться многие годы,— способность, присущая здоровой и радостной молодости, лишь возросла с тех пор, как его влияние на окружающих стало сильнее. Первое впечатление обычно бывало неблагоприятным. Люди отворачивались от его дерзких глаз. Когда он в качестве нового члена впервые появился в Уайт-клубе, все там находившиеся прикрылись газетами. Остался лишь некий старый джентльмен, которому не удалось вовремя найти свободное кресло. Уайльд завел с ним беседу и вскоре уже говорил один, чуть громче, чем полагалось бы. Мало-помалу газеты опускались, все больше взглядов устремлялось из-за них на говорившего, кресла потихоньку придвигались, и в конце концов образовался круг слушателей, а потом уже то один, то другой, беря Оскара под руку, говорил ему:

— Если в какой-нибудь денек Лондон вам надоест, прошу посетить Тредли. У меня есть доброе бургундское, оно вас заинтересует.

Или:

— Дорогой мистер Уайльд, мне досталась от дедушки коллекция картин, я охотно показал бы ее вам.

Он очаровывал каждого, кто того заслуживал, и еще больше — людей недостойных этого. Остроты, прежде как бы стесненные, часто скрывавшиеся собственным смехом, сыпались теперь неожиданно, метко и нагло. Если иногда и создавалось впечатление шумливой неискренности, причина была в неуемном желании нравиться, особенно перед особами высокопоставленными. Он упивался обществом увешанных орденами политиков, министров, лордов, герцогинь. Зорким взглядом человека из другой среды он подмечал смехотворность, пустоту, глупость этих людей, собирал коллекцию редких экземпляров, которых потом вывел в комедиях, однако таял от их лестных для него рукопожатий, разделял все их предрассудки, не представлял себе жизни вне их круга.

— Ничего удивительного. Я предпочитаю Норфолка, Гамильтона, Бэкингема, нежели Джонса, Смита, Робинсона. Я, как Шекспир, до безумия влюблен в исторические имена.

Сам он понемногу сближал свою скромную родословную с разросшимися генеалогическими древами тех, с кем встречался. О матери своей говорил не иначе, как «her ladyship»[6]. Подписывался же: Оскар О'Флаэрти Уайльд.

— О'Флаэрти — имя древних королей Ирландии. Я на него имею право, ибо происхожу из их рода.

В полночь он погасал — словно бы вместе со свечами в канделябрах. Опустевшие залы, стук закрывающихся дверей, слова прощаний навевали на него ощущение траурной пустоты. Он возвращался в свой дом, объятый сном и тишиной. Там все было без перемен. Он мог слышать, как ровно и спокойно дышат в своих комнатах дети и жена. Опять перед ним будничная повседневная жизнь, которую надо продолжать с того места, на котором он ее несколько часов назад оставил, жизнь, где царят необходимость и обыденность. Утро серым своим рассветом спугивало последние иллюзии, а ночью-то казалось, будто создан новый мир, нам на радость. Все находилось на своих местах, безмолвное, надежное, прочное.

Посреди комнаты стоял простой, видавший виды письменный стол Карлейля, купленный на аукционе, некий странный парадокс среди нарядных книжных шкафов, ковров. и безделушек, вещь тревожащая и таинственная. Сделанный из прочного дуба, не смягченного ни единой округлостью, очерченный строгими линиями ровных плоскостей, стол казался неким бастионом сосредоточенности и мысли. Никакого хруста, скрипа, скрежета — ящики выдвигались тихо, без сопротивления, как хорошо смазанные засовы. Несколько чернильных пятен, не смывающихся, как следы крови в старых замках, один бок чуть светлее — верно, от многолетнего действия солнечных лучей,— и один край, на который опиралась рука писателя, обтерт, вроде исхоженных ступеней лестницы.

Долгие часы просиживал Оскар за этим столом в полной беспомощности. Внутри была ужасная для всякого художника тишина и угрюмое безмолвие мозга, который ни единой мыслью не откликается на нетерпеливую мольбу о слове. Проведенные за вином ночи вселяли в Оскара легкий взгляд на будущее, которое представлялось ровной, почти бесконечной полосой, где всему будет место, где тебя ждет бессчетный ряд дней, готовых породить шедевры,— и вдруг в этих четырех стенах становилось тесно, пусто, одиноко. В часы увлеченности своим красноречием он чувствовал себя титаном, способным двигать горы, а вот на поле белой страницы не находил ничего по силе своих рук, кроме обычных камешков.

Ему не хватало дыхания на что-то покрупнее небольшой статьи или литературной рецензии, и очерк «Шекспир и костюм»— позже в книге статей изданный под названием «Истина масок»,— очерк весьма основательный и разумный, был единственной более обширной работой — в течение года он

сумел заполнить несколько десятков листов дорогой бумаги прямо-таки нахальных размеров. Формат бумаги он заимствовал у Виктора Гюго, и лишь тщеславие мешало признать, что такие размеры бумаги были уместнее для руки, писавшей «Отверженных», чем для этих скромных, полужурналь ных заметок.

Однако в 1886 году произошла некоторая перемена. Оскару пришло в голову, что можно ведь говорить с пером в руке так, как он говорил по вечерам за вином и папиросами. «Кентервильское привидение», «Сфинкс без загадки», «Натурщик — миллионер» — как бы взятые из записи бесед — стали известны в лондонских гостиных намного раньше, чем появились в популярных журналах. «Преступление лорда Артура Сэвиля» предвещало будущие комедийные диалоги, как и фамилию леди Уиндермир, принесшую ему несколько лет спустя такой успех. В конце изящной новеллы «луна с любопытством выглянула, будто глаз льва, из-за гривы палевых туч; бесчисленные звезды осыпали округлый небосвод, словно брошенная на пурпурный купол золотая пыль». А еще через минуту занялась заря: «алые лепестки волшебной розы».

То уже были тьма и свет иного мира. Через несколько месяцев стол Карлейля прогибался под цветами и драгоценностями. Создавались сказки. О Счастливом Принце, о Соловье и Розе, о Великане-эгоисте, о Замечательной Ракете. Не одна из них, прежде чем забраться на стол Карлейля, побывала на верхнем этаже,— в комнате мальчиков, которым Уайльд рассказывал свои сказки, трудноватые для их возраста и воображения. Несколько сказок по дороге утерялось, и сохранились они лишь в памяти сыновей. «Счастливый Принц» вышел в мае 1888 года с иллюстрациями Джекомба Гуда и Уолтера Крейна. Критика отнеслась пренебрежительно, успех книги был невелик.

Не принадлежа к писателям, изучающим счета книжных лавок, Уайльд об этом не тревожился и, скорее всего, даже не знал. Он был в восторге от исправной быстроты своего пера — вызволенное из журнального рабства, оно поспевало теперь за бегом его фантазии. После краткой выучки у Андерсена он вернулся к излюбленной своей форме свободного очерка, этой изящной, тонкой манере рассуждать о людях, вещах и проблемах, которой Уолтер Патер придал столь живой и красочный тон. Уолтер Патер, тихий, задумчивый мастер из Оксфорда, товарищ лучших часов жизни, несравненный виртуоз музыкальной, звучной прозы! «Перо, карандаш и отрава», очерк, опубликованный в 1889 году в «Форт-найтли ревю», и «Портрет м-

ра У. Х.» того же года могли бы оказаться среди «Воображаемых портретов» Патера по точности сведений, чистоте стиля и изысканности тона.

Первый очерк, посвященный странной фигуре Уэйн райта, писателя, рисовальщика и отравителя, возник якобы после того, как автор загляделся на пару перчаток зеленой кожи, такой гладкой и тонкой, что она почти просвечивала,— их ввел в моду этот денди начала XIX века. Целые месяцы Оскара преследовал образ узких рук, как бы обтянутых змеиной кожей, под которой просвечивали синеватые жилки; он видел, как ночью они появляются, чтобы влить яд в стоящий у кровати стакан, и как с подобной же легкостью, при мирном свете лампы, делают за столом, заваленным книгами, изящные зарисовки детских головок или выстраивают слова в ряды длинных, отшлифованных периодов. Не без глубокого волнения написал он тогда: «Легко вообразить себе сильную личность, которую формирует грех». И, как всегда, он тут думал о самом себе.

«Портрет м-ра У. Х.» был внушен усердным чтением Шекспира. «Сонеты» принадлежали к любимым книгам Оскара. В любую минуту он мог цитировать наизусть десятки этих великолепных стихов, насыщенных скрытым содержанием. Его привлекала их тайна, окончательно затемненная сотнями брошюр, трактатов, ученых трудов, старавшихся ее объяснить. Какое наслаждение очутиться в этом волшебном доме слов, ключ к которому, навеки погребенный, лежит на дне трех веков!

В то время было довольно распространено мнение, что «Сонеты» адресованы лорду Уильяму Херберту. Оскар снова выдвинул давно заброшенную теорию, что героем их является молодой актер Уильям Хьюз, чей образ полон изящества и поэтичности и для которого Шекспир создавал свои самые обаятельные женские роли. Ведь в его времена женские роли играли юноши. Свое эссе Оскар написал в виде рассказа о волнующей гибели Сирила Грэхема, погибающего за веру в «теорию Хьюза», сделал в легких беседах более доступными трудные ученые рассуждения и наполнил ими тишину библиотек в старых богатых дворянских домах. «Фортнайтли ревю» отослал рукопись автору, не желая публиковать вещи, где речь шла о любви Шекспира к юношам. Напечатал очерк «Блэквудс Мэгезин», и много недель не прекращались толки в гостиных, в клубах, в прессе. Очерк Уайльда восприняли как личное признание.

Ни в один период своей жизни Уайльд не работал так, как в 1890 и 1891 годах. Успех в обществе и известность были достаточно велики, чтобы поддерживать ровное напряжение ума как бы под постоянным магнетическим током, но в то же время

еще не превышали некую меру и оставляли немало часов, чтобы прислушиваться к своим мыслям. За исключением юношеских стихов, в значительной мере возникших в оксфордском одиночестве, творчество Оскара всегда осуществлялось вдали от его кабинета и письменного стола. Живое слово всегда было у него матерью мысли. А общество — тем, чем бывает для железа кремень, высекающий искры. Он мыслил, столкнувшись с умом другого, мыслил, когда говорил, и созданный на ходу ответ чаще всего бывал той чудесной загадочной случайностью, какая при создании стиха подсказывает рифму, пробуждает неожиданные ассоциации. После одного вечера, проведенного среди людей внимательных и молчаливых, из одной встречи с кем-нибудь умеющим слушать и спрашивать, из обычной поездки по парку, где меж двумя поклонами обмениваются несколькими фразами о погоде, о новой трости, о пейзаже, о мелодии, которую играет оркестр, он приносил больше, чем сумел бы нашептать сам себе в течение бесконечных часов за столом Карлейля. То, что оставалось сделать, зависело уже только от умения записывать. Разумеется, это «только» заключало в себе бездну писательских наслаждений и мук. В те годы Уайльд шел на них с величайшей радостью.

Второй цикл сказок, изданный отдельной книгой под названием «Гранатовый домик», он рассказывал неоднократно и на разные лады, прежде чем нашел эту форму, где слиты мягкая фантазия Андерсена и флоберовская точность, образуя особый сплав. Свершалось бракосочетание Снежной Королевы со Святым Юлианом Милостивым, свадебным подарком от Уайльда были: неистощимый ларец с драгоценностями и длинные ряды гобеленов, на которых его ритмическая проза выткала картины природы и радостные пасторали. Книга вышла небольшим тиражом, критика ее, в общем-то, обошла молчанием, не догадываясь об истинной ее ценности, не предчувствуя, что она станет источником столь многих подражаний.

В эту пору Оскар часто заглядывал в итальянский ресторанчик в квартале Сохо, где за несколько шиллингов подавали недурной обед с бутылкой кьянти или барбери. Его сопровождал Роберт Росс, чья небольшая фигурка лепилась к Уайльду, как короткая полуденная тень. Несколько месяцев назад Уайльд подобрал Росса вместе с его тростью и перчатками на диванчике в приемной редакции «Сэтердей ревю». Росс сидел, смиренно поджав ноги, и ждал, пока его вызовет редактор, м-р Поллок; видно было, что он сжимает в кармане руколись. Оскар вывел его оттуда, как Сократ Федра, выслушал содержание романа, которое Росс рассказал ему по пути, и завязалась дружба

— со стороны Уайльда великодушная, доброжелательная и благодарная, со стороны Росса — покорная, преданная, непоколебимая. Однажды Росс опоздал на обед, о котором они уговорились.

— Я должен был зайти в редакцию,— сказал он.— Долго ждал там. Потом сел в омнибус, а он, ты знаешь, делает большой круг. Вот у меня еще есть билет.

Оскар налил себе рюмку вина, выпил, рассмеялся. — Дорогой Робби, я так тебя люблю, что отношусь к тебе с наивысшим доверием,— верю твоим словам. Заметь, я награждаю тебя не по заслугам. То, что ты говоришь, очень похоже на правду, но скорее всего — это обычное искажение ничего не значащих фактов. Да еще этот билет! Ты прибегаешь к свидетельствам, доказательствам, словно ты газетчик или политик. Ты не умеешь лгать. Твои губы не умеют лгать. Они слишком прямые. Ты бы постарался хоть немножко кривить верхніою губу. Да, мы должны заняться возрождением лжи как искусства, мастерства и наслаждения.

Роберту игра пришлась по вкусу. В ожидании, пока подадут рыбу, Оскар рассуждал о вечной лжи искусства, а Росс задумчиво молчал. В этот день он читал Мюссе.

— А знаешь, Оскар, у него Фортунио восклицает: «Какой нынче вечером неудачный заход солнца! Взгляни на эту долину, на четыре-пять жалких тучек, карабкавшихся на ту гору. Да я такие пейзажи рисовал на обложках моих школьных книжек, когда мне было лет двенадцать».

— Прелестно, Робби, прелестно! И как верно! Природа действительно неисправима. До тошноты повторяет один и тот же эффект. Заход солнца совершенно вышел из моды. Это нравилось в те времена, когда Тернер был последним словом в искусстве. И все же это явление продолжает существовать — к удовольствию провинциалов.

Разговор делал внезапные и великолепные виражи. В четверть часа Оскар обозрел литературу, искусство, Грецию, Францию и возвратился довольный, счастливый, неистощимый.

— Знаешь,— сказал он в заключение,— Гюисманс говорит, что Дез Эссент вернулся из Голландии разочарованный. Он нашел там обыденную жизнь и обыденных людей, ни в чем не похожих на портреты, пейзажи и жанровые сцены голландской живописи. Ручаюсь, так обстоит дело повсюду. Даже на краю света. Япония Хокусае — его собственная личная фантазия. В жизни от этого осталось лишь немного вееров да фонариков.

Два дня спустя он послал в «Найнтин Сенчери» рукопись диалога под названием «Упадок лжи».

Но этот диалог продолжал жить в нем. Жить певучим потоком свободного слова, цепким взглядом, охватывающим каждую мысль со всех сторон, как статую на вращающемся пьедестале, жить в причудливости, беспечности, в легкости формы, которую любили все свободные умы от Платона до Лукиана, Джордано Бруно, Эразма Роттердамского, Ренана. За несколько недель Оскар перечитал «Горгия», «Федра», половину «Республики», «Беседы богов», «Вымышленные диалоги» Лан дора, «Беседы мертвых» Фонтенеля, «Калибана» и «Воду молодости» Ренана. Все это вросло в него как клетки разнообразных тканей, готовые воспринять кровь собственных его мыслей.

Тему подсказал случай. Наводя порядок в столе, Оскар нашел рукопись своей университетской работы «О возникновении исторической критики». Его позабавила ученическая эрудиция и удивило то, что в наивном этом тексте встретилось несколько выражений, которые можно было использовать. Листки, на которые он их выписал, а также заметки из недавно прочитанных книг перемешались под влиянием фантастического настроения, владевшего Оскаром, когда он создавал диалог «Критик как художник». Два молодых джентльмена вели беседу так, как ее умел вести Уайльд: непринужденно, с улыбкой, в кругу непрестанно меняющихся образов, придающих мыслям форму и краски. Тут нашли свое место идеи, услышанные от Рескина и извлеченные из вечеров у Берн-Джонса, и то, что он навсегда усвоил из «Ренессанса» Уолтера Патера,— наконец в эту мозаику идей удалось очень кстати вставить все доныне разрозненные замечания о книгах, картинах, статуях, и диалог оказался формой столь емкой, что по краям его еще окаймляла пена веселой праздности, хвала vita contemplativa[7] — некий манифест благородных душ.

Закончив диалог, Уайльд испытал то блаженное облегчение, какое чувствуешь, высказав до конца свои мысли, свою веру, свои вкусы. Два обычных имени: Эрнест и Гилберт, которыми он отделял абзацы диалога и о которых вначале так мало думал, что не видел их лиц, не подозревал, что у них могут быть какие-то свои черты, внезапно ожили, стали знакомыми, будто из него самого вышли две тени. Им владело чудесное и грустное чувство полной самоотдачи — две тени ушли, унеся с собою все его мысли и мечты, и он ощутил в себе такую пустоту, что уже не надеялся когда-либо заполнить ее снова чем-то подобным.

Снаружи была все та же заря, она, будто пурпурной лентой, перевязала последнюю фразу рукописи. Как бы с трудом отрываясь от двух своих теней, Оскар поспешно оделся и вышел на улицу. Вот он в Ковент-гардене, где разгружают уже последние

повозки с цветами. Он сел на скамейку, а когда заморосил мелкий дождик, зашел в только что открывшееся кафе. Официанты переносили столики, поставленные один на другой. Оскар забыл о своем кофе и выпил его уже совсем холодным. Озябшие от дождя и холода извозчики пили чай с ромом стоя, опершись на кнутовища. Наконец небо прояснилось, и Уайльд вернулся домой кружной дорогой. В прихожей он увидел утреннюю почту. Сверху лежал конверт с американским штемпелем. Не снимая пальто и шляпы, Оскар вскрыл конверт. «Липпинкотс мэгезин» спрашивал, можно ли рассчитывать на какую-нибудь его повесть, не слишком длинную, на тридцать — сорок тысяч слов, для одного из ближайших номеров. Дом просыпался, в верхних комнатах слышались голоса детей. Оскар зашел в свой кабинет и бросил письмо на стол. Пустота, которую он чувствовал в себе несколько часов назад, отозвалась глубоким гулом, как медленно наполняющийся сосуд.

Несколько дней кряду Оскар почти не выходил из дому. Когда же случайно оказывался в обществе, его молчание и рассеянный вид вызывали недоумение.

— Пишу повесть,— отвечал он, если кто-нибудь прямо спрашивал, что с ним.— Я побился об заклад, что напишу повесть за две недели.

Минула вторая неделя, а вещь не была закончена. Ни одно произведение не вызывало у Оскара такого увлечения, такого внутреннего жара. Он отрывался от стола лишь тогда, когда наступало состояние одурманенности после чрезмерного количества выкуренных па пирос. Не составляя плана, не связывая себя намеченным заранее ходом событий, он ждал всевозможных сюрпризов, которые судьба могла принести тому, чье сердце билось от собственных его, Оскара, тревог. Вернее, у него было теперь два сердца и два мозга. Лорд Генри Уоттон мыслил его мыслями, Дориан Грей жил увлекаемый его страстями. Но, конечно же, не для удовлетворения пошлой мещанской морали уготовил он гибель этому созданному мечтой красавцу. Просто тот сам низвергался в пропасть, словно мечущийся в кошмаре — с пурпурных подушек. При каждой зловещей фразе Оскара пронизывала дрожь, будто он прикоснулся ногою к собственной могиле. В первый раз он ощутил такое потрясение, когда писал в сказке о Молодом Короле: «Не мудрее ли тебя тот, кто создал нищету?» Очень часто случалось, что написанное предложение было для него чем-то большим, чем ряд слов. Страницы смерти Дориана он тщательно переписал сам, не решаясь показать чужим глазам эти беспорядочные, перепуганные буквы.

На другой день снова наступили холод и покой. Оскар сложил в стопку листы, груда которых две недели росла в ящике стола, и, беря один за другим, нумеровал страницы, перечитывал, правил, вычеркивал слова, при-, бавлял. Росс, которому он прочел готовую рукопись, нашел сходство с «Шагреневой кожей» Бальзака.

— Совершенно о ней не думал,— сказал Уайльд. История Дориана, хотя и развивалась неожиданным образом, давно жила в его мечтах, всегда готовых к тому, что кто-нибудь может подарить ему Большую Медведицу. Всякий раз, когда он хотел усмирить свои мысли, успокоить их перед сном или развлечь во время одинокой прогулки, он предавался мечтам о вечной молодости. Иногда он воображал себе алхимика, старого, всеми забытого чудака, который случайно его встретит и подарит заветный флакон: одной капли хватит, чтобы удалить морщины, вернуть упругость мышцам, восстановить выкрошившиеся зубы, В другой раз это совершалось с помощью никому до тех пор не ведомого зелья, волшебного зелья, подобного тому «моли», которым запасся Одиссей против чар Цирцеи. Или же можно было по старинке продать душу дьяволу, демонам, духам воздуха, и тогда одно их прикосновение предохранит тело от болезней, увядания и сделает его прекрасным — до конца ничем не ограниченных дней. Разнообразя эти мечты, Оскар пользовался всеми способами, известными в мифах и легендах о чернокнижниках, вводил даже эллинских богов, на миг поддаваясь вере, что мир, как прежде, им подвластен, с детским увлечением собирал все вымыслы, кроме того одного, который вдруг явился ему, когда он взял первую четвертушку бумаги.

— Я совсем не думал о Бальзаке,— повторил он.— Разумеется, досадно, но тут уж ничего не поделаешь. Не стану же я изменять свою повесть из-за того, что какой-то незадачливый самоубийца отравлял себе жизнь куском ослиной кожи. Надо быть вовсе лишенным впечатлительности, чтобы не почувствовать, насколько моя повесть живее, тоньше, красочнее и правдивее. Да-да, гораздо правдивее.

«Портрет Дориана Грея», напечатанный в «Липпинкотс мэгезин», был слишком тощим, чтобы издать его отдельной книгой. По желанию издателя Уайльд расширил повесть хаотической XI главой и несколькими столь же пустыми, неудачными вставками. Книга появилась в апреле 1891 года и вызвала недовольство. Оскар сделал все, чтобы его разжечь. В клубах, театрах, на прогулке его видели в обществе молодого человека чарующей наружности, о котором говорили, что он наделен большим поэтическим даром. Звали юношу Джон Грей.

Оскар познакомился с ним через месяц после окончания своей повести и счел этот необычный случай лучшим доказательством своей теории о том, что жизнь подражает искусству.

— Стоит создать прекрасное произведение искусства, чтобы жизнь тотчас его скопировала. Джон Грей наверняка существовал до Дориана, у него, без сомнения, есть метрика, которая может это засвидетельствовать, однако никто не будет отрицать, что он стал кем-то лишь в ту минуту, когда лорд Уоттон открыл его в мастерской Бэзила Холлуорда.

Говорили, впрочем, будто Джон Грей послужил образцом для Дориана, и находили это скандальным. Пресса подняла шум. Джером К. Джером в своей газете «Тудей» призывал к борьбе с испорченностью и соблазном. «Сент-Джеймс гэзет» взывала к цензуре, к суду, к полиции. «Дейли кроникл» видела тут «порождение «проклятой» литературы декадентской Франции, книгу, полную яда, атмосфера в которой смердит удушливым запахом нравственного и умственного разложения». На двести шестнадцать рецензий, пожалуй, в одном лишь осторожном голосе Уолтера Патера не звуча ло негодования. Несколько недель Уайльд вел кампанию, посылая ответы, протесты в главные газеты. «Моя повесть — это попытка декоративного искусства, протест против грубости абсолютного реализма...», «Произведение, если угодно, полно яда, но вы не можете отрицать, что оно совершенно, а совершенство — это цель, которой мы, художники, стремимся достигнуть...», «Только Гете сумел бы охватить создания искусства со всех сторон, полностью и абсолютно верно, и очень жаль, что Гете не имел возможности прочитать «Дориана Грея». Уверен, что книга захватила бы его, и надеюсь, что какой-нибудь находчивый издатель теперь рассылает теням на Полях Елисейских подобные же экземпляры и что переплет экземпляра, предназначенного Готье, цветет желтыми нарциссами». В конце концов, утвердив мнение общества, что он написал книгу безнравственную, возмутительную, и обдав газетчиков презрением, Оскар закрыл дискуссию на страницах «Скотте Обзервер»: «Прошу считать это письмо последним моим словом и сделать мне любезность предоставить эту книгу вечности, которой она принадлежит».

Между тем успех книги был невелик— в викторианскую эпоху публика была более восприимчива к ценностям моральным, нежели эстетическим.

«Дориан Грей», на французский лад свободный по стилю и содержанию, был неким протестом против традиционных банальностей английского романа. Быть может, именно это и разозлило так сильно газетных критиков, если вообще возможно

угадать образ мышления людей этого сорта. Уайльд действительно всю жизнь воспринимал французские влияния, причем систематически, как некое средство умственного оздоровления. Французские книги он читал больше, чем английские, через журналы и личные контакты поддерживал постоянную связь с литературным движением по ту сторону Канала. Лишь немногие его вещи (и, пожалуй, самые незначительные) были написаны без оглядки на какой-либо существующий или возможный французский образец. Д аже отдельные фразы, особенно их строй, сочетание, последовательность, он мысленно примерял к ритму хорошей французской прозы. Его мало заботило, так ли выразил бы свою мысль или обрисовал бы образ кто-либо из лучших английских писателей, зато он тщательно взвешивал, как бы это звучало под пером француза.

В Париже Оскар бывал несколько раз в году, проводя там по две-три недели. У него были любимые ресто раны, кафе, в Париже он вел уединенный образ жизни, толпа о нем ничего не знала, круг друзей был небольшой. Женщинам нравилась его учтивость, в которой было нечто от эпохи Людовиков и нечто романтичное. Княгиня Монако прислала ему свой портрет с надписью: «Au vrai art — à Oscar Wilde»[8]. Он принадлежал к числу знаменитостей. Баррес угощал его завтраком у Вуа зена. Мореас, Малларме сидели за его столом. Запершись с Пьером Луи в заваленной книгами комнате, среди клубов папиросного дыма, они опускали двойные шторы, чтобы свет не мешал их интеллектуальным оргиям, таинственным беседам, длившимся бесконечно,— казалось, так же бесконечно, как то, что было их предметом— жизнь Греции от Гомера до Плотина.

Поэт Стюарт Меррилл, автор «Четырех времен года», бродил с ним по закоулкам Монмартра. Как-то вечером были они в «Мулен Руж». На небольшой сцене выступали клоуны, акробаты, жонглеры. Друзья собрались уходить, как вдруг Оскар потащил Меррилла в первые ряды. На эстраде танцевала какая-то румынка, полусонная жалкая девчушка, которая, непонятно зачем покачавшись взад-вперед, становилась на руки, вскидывая пятки вверх, а через минуту автоматически, безо всякого изящества, снова принималась кружиться, изгибаться, прыгать. Уайльд захлопал ей — это удивило Меррилла, зрителей и саму танцовщицу.

— Я хочу познакомиться с этой девушкой,— сказал Оскар.

Он послал ей записку. Служитель вернулся без ответа. Оскар был огорчен.

— Я, видишь ли, хотел пригласить ее поужинать и поговорить

об одном моем замысле. Уже давно я думаю о Саломее. Мне хочется, чтобы дочь Иродиады танцевала на руках. На руках, дорогой мой, точно так, как у Флобера.

Дополняя «Дориана» для издания отдельной книгой, Уайльд снова перечитал «A rebours», откуда немало взял для этих дополнений. Заодно он заимствовал оттуда образ Саломеи. Его пленили описанные в пятой главе две картины Гюстава Моро. Неотступно стоял перед его глазами невероятный колоссальный трон, как бы высящийся над веками и над историей,— на троне восседает тетрарх Ирод в иератической позе индусских богов, со сдвинутыми ногами, держа руки на коленях; у него желтое, морщинистое лицо и длинная борода, подобно облаку белеющая над звездами драгоценных камней, что сверкают на его облачении; подальше — Саломея, вся в алмазах, жемчугах, золоте, вперив глаза куда-то по ту сторону реальности, словно в каталептическом сне, стоит на цыпочках, готовая начать танец с цветком лотоса в руке, как некое божество наслажденья. Пленительная, чудовищная, равнодушная, безответственная, ядовитая тварь. Образ этот сливался с другим, с описанной Гюисмансом акварелью «Призрак». Во дворце Ирода, в сводчатой радужно-пестрой Альгамбре, со стоящего на полу подноса подымается в воздух отрубленная голова и жуткими стеклянными зрачками глядит на нагую Саломею, прикрытую лишь драгоценностями, сверкающими в лучах ореола, что окружает главу Крестителя.

Оба видения, а может, в особенности их безумное толкование у Гюисманса поплыли в мозгу Уайльда рядом с «Иродиадой» Флобера. Он наизусть знал ту сцену, где Саломея, в черных шальварах, в туфельках из пуха колибри, окутанная голубой шалью, под звуки флейт, кроталов и гингр, изображает своим телом погоню, вздохи, томление, любовный пыл среди шороха драгоценностей и шелков, утопая в облаках никому не видимых искр, и наконец, став на руки и подняв ноги вверх, пробегает по сцене, как большой паук, и внезапно останавливается...

Через несколько дней после этого вечера Уайльд принес Мерриллу рукопись. Это была «Саломея», драма в одном акте, на французском языке.

— Написал очень быстро,— сказал Оскар.— Одним духом. Все это уже давно было у меня в голове.

— Но почему по-французски?

— Не знаю. Так получилось. Впрочем, англичане этого бы не поняли.

Стюарт Меррилл нашел нужным сделать в рукописи столько исправлений, что в некоторых местах тонкие линии неплотно

поставленных букв Оскара бесследно исчезали под угловатыми буквами помарок. После долгого спора Уайльд согласился всего лишь убрать бесчисленные «enfin»[9] которыми начиналось каждое второе предложение.

— Хорошо,— сказал наконец Меррилл,— но не считаешь ли ты, что персонажи твоей драмы разговаривают, как английские дети, у которых была гувернантка француженка?

Уайльд усмехнулся:

— Ты говоришь, как настоящий друг.

Взяв рукопись, он попрощался и ушел. Он-то знал ей цену. Его проза была простой, он понимал, что тут ни к чему путаться в длинных периодах, однако почерпнул он ее не из общения с Оллендорфом. Он взял эту прозу из «Семи принцесс» Метерлинка и был доволен, что Меррилл этого не заметил. Но подумать следовало. Оскар дал прочитать пьесу Адольфу Ретте. Тот прочел, одобрил все поправки Меррилла да еще от себя добавил больше десятка. Рукопись имела ужасный вид. На ней выросли джунгли помарок и дописанных слов, чужих слов, из-под которых слово Уайльда глядело плачевно и действительно неуместно. Наконец он обратился к человеку, чьего суда опасался больше всего и перед кем всегда немного робел. Но прежде чем показать пьесу, сам переписал текст заново.

Пьер Луис читал медленно, не нарушая молчания, не делая никаких движений, только то и дело зажигал папиросы. Оскар сидел в углу комнаты, держа на коленях старую Библию, Библию Пьера Варике, с комментариями докторов теологии из Лувенского университета, и смотрел на лицо Луи, бледность которого оттеняли черные усы и клубы дыма. Перевернута последняя страница. Луи взял новую папиросу, откинулся на спинку кресла. Уайльду казалось — он видит мысли Луиса.

Вот Луис сперва дает время исчезнуть последней сцене, когда погасли факелы и звезды, а луна ушла за тучу. Потом он мысленно открывает бесстрастный рассказ святого Матфея: «Плясала и уходила» Потом начинает воздвигать дворец Ирода, придавая ему кирпичные бастионы, какие там были в средние века, и арки, колонны, цветущие террасы Ренессанса. Средь них он ищет иудейскую принцессу, которая все ускользает во мгле далеких веков, а он ловит ее несколькими датами из истории, несколькими отрывками древних текстов и находит ее наконец на порталах базилик, на сводах часовен, на стенах монастырей — нежную, радостную, почти с чертами Мадонны, потом видит ее у живописцев Возрождения — зрелую женщину, сознающую свою красоту, несущую голову пророка изящно и свободно, будто корзину с цветами.

Луис облокачивается на край стола, опускает голову на руку, и Оскар знает, что под его полуприкрытыми веками движутся бесконечные ряды букв,— все, что прочитали и запомнили эти спокойные, усталые глаза. Странная тревога и досада охватывает Оскара, ему кажется, что эта кипа лежащих на столе страниц его унижает, он готов отречься от них какой-нибудь шуткой, он не понимает, как мог он хоть на минуту разрешить кому-то судить о его грезах, однако все похвалы на свете он не променял бы на слова, которых ждет сейчас.

— Оскар,— говорит Луис почти шепотом,— это прекрасно. Это поэзия, это живет и волнует. Никто, даже Флобер, не догадывался, кем была Саломея. Ты ее открыл. Твоя драма — это сказка лунной ночи, и она чарует, как лунная ночь.

Между ними стоит лампа под темным абажуром. Луис ищет за кругом света лицо Уайльда. Но тот встает и наклоняется к нему, нависает над столом грузным своим телом.

— Ты в самом деле так думаешь, Пьер? А язык? Мне говорили, Пьер...

— Кто?

— Меррилл, Ретте.

— Что говорили? Чтобы ты писал, как они? — пожимает плечами Луис.

Уайльд молчит. Ни гордость, ни тщеславие, ни привычка к похвалам не могут погасить в нем счастья, какое он испытывает при словах друга-писателя над раскрытой рукописью, над этой новой пьесой, еще горячей от его грез. В порыве благодарности он готов пожертвовать самым дорогим, самой этой «Саломеей», он отрицает, что вещь хороша, он находит неудачные места, изъяны, погрешности, он возражает, оспаривает слишком скорый приговор, он умаляет себя — чему сам не верит,— чтобы тем сильней, тем радостней прочувствовать все возрастающее восхищение Луиса, чтобы наконец позволить убедить себя и покорно подчиниться с блаженным доверием, которое уже только исторгает вздохи и туманит влагой глаза.

Воротясь в Лондон, он застал жену больной. На письменном столе пачка неоплаченных счетов. Кроме того, несколько приглашений на последние спектакли сезона. Среди них записка: «Джордж Александер, директор театра Сент-Джеймс, просит м-ра О. Уайльда посетить его в конторе театра или назначить место и время для важного разговора». Разговор состоялся на другой день у Кюна, на Риджент-стрит, и в результате Уайльд взял сто фунтов как залог того, что за неделю напишет полностью или представит почти готовый текст четырехактной комедии. Деньги разошлись быстро, и еще быстрее улетучилось желание писать, тем паче что

был уже разгар театрального сезона. Александер, однако, не выпускал его из виду и через несколько недель решился спросить:

— Когда же я увижу пьесу?

— Но, дорогой мой, ты можешь каждый вечер смотреть любую пьесу, какая тебе нравится. Уверен, что в каждом театре тебе предоставят лучшее место.

— Да ты ведь знаешь, о какой пьесе я говорю.

— Откуда мне знать, если ты держишь это в секрете?

— Я говорю о пьесе, которую ты пишешь для меня. — Ах, так! Но она еще не написана.

— Однако ты, наверно, ее уже начал?

— Конечно, только не пером и чернилами.

— Это ужасно! Неужели тебе совсем не нужно зарабатывать деньги?

— Предпочитаю, чтобы другие зарабатывали их для меня. Да, извини, совсем забыл. Я ведь должен тебе сто фунтов.

— О, из-за этого не тревожься.

— А я нисколько и не тревожусь.

После этой беседы Уайльд все же зашел в книжную лавку Ашет на Кинг-Уильям-стрит, набрал, сколько мог найти, французских пьес, нашумевших за последний десяток лет, и заперся дома, чтобы исследовать секреты их кроя. В конце лета он снял дом на озере Уиндермир, и там-то появилась на свет столь желанная для Александера комедия,

IV

Зал театра Сент-Джеймс, где все места были распроданы после первой афиши, заполнился в день премьеры «Веера леди Уиндермир» уже за полчаса до начала представления. У многих молодых людей красовалась в бутоньерке green carnation — зеленая гвоздика, это было непонятно и раздражало. М-с Констанция Уайльд в платье из бледно-голубой парчи, украшенном старинными кружевами, в ослепительном жемчужном колье, словно слишком тяжелом для ее хилой шеи, сидела мол ча, смущенная натиском старомодного великолепия леди Уайльд, которая в ожидании триумфа сына была чрезвычайно воодушевлена и наполняла ложу ароматом нюхательной соли.

Занавес поднялся и открыл малую гостиную лорда Уин дермира, светлую и просторную, уставленную мебелью в стиле чиппендейл, с шелковыми занавесями и восточной парчой, с дорогим ковром, покрывающим весь пол. Большие ренессансные часы сияли своим циферблатом, выглядывавшим, как луна, среди пышных пальм. Склонясь над столом, леди Уиндермир, которою была в тот вечер прелестная Лили Хенбери, расставляла розы в смирненской вазе аметистового цвета и блеска. В зале повеяло особым запахом великосветской жизни, для всех, впрочем, дразнящим и заманчивым.

Появился молодой лорд Дарлингтон, и на сцене будто еще прибавилось света и изящества от блеска его слов в любовном препирательстве. Потом он ушел, уступив место герцогине Бервик и послушной ей Агате, сотканным из подлинно английского юмора. Но не прошло и получаса, не погасли еще янтарные лучи заката за стеклянными дверями террасы, как конец акта был омрачен тучею, внезапно нарушившей счастье.

Антракт продолжался десять минут. Половину этого времени заняли аплодисменты, второй половины не хватило, чтобы выкурить папиросу. Многие запоздали и вошли в зал, когда камердинер в богатой ливрее вводил гостей в комнату, всю в розах и в золоте. Желтые огни восковых свеч мерцали в канделябрах и хрустальных люстрах. Из дверей, открытых в танцевальный зал, доносились медленные звуки вальса. Глаза всех были прикованы к вееру, дрожавшему в руках встревоженной леди Уиндермир. Появлению м-с Эрлин сопутствовала полнейшая тишина, стук упавшего на пол веера был слышен в самых дальних рядах галерки. Несколько следующих сцен отвлекли публику, но затем она снова была обеспокоена внезапным бегством леди

Уиндермир, и второй антракт все провели в зале.

В цачале третьего акта из сумочек были извлечены батистовые платочки, непременно появляющиеся в критических местах мелодрам, но тут же исчезли, когда сценою завладели друзья Дарлингтона. Мало кто уже помнил о спрятавшихся за гардиной женщинах и о лежащем на диване веере. Россыпи остроумия превосходили богатством даже сокровища этой чудесной библиотеки, где среди расстеленных на полу дорогих мехов цвели пальмы, а на нарядных переплетах книг как бы продолжались причудливые узоры ковров.

В фойе тесным кружком стояли критики и молча курили сигары. Им незачем было обмениваться мнениями, ибо каждый еще до начала спектакля имел готовое суждение. Вдруг до них донесся чей-то довольно громкий голос:

— Это, пожалуй, самая лучшая, самая блистательная английская комедия.

Джозеф Найт, критик из «Трут», стоявший в середине безмолвного кружка, подскочил от возмущения.

— Вы только послушайте! — воскликнул он.— «Веер леди Уиндермир» лучше, блистательнее комедий Шекспира!

Тут же, за его спиною, какой-то молодой человек спокойно произнес:

— Да, остроумнее, и юмора здесь больше, чем в «Как вам это понравится» или в «Много шума из ничего». И интеллектуальный уровень выше.

Стоявшие раздвинулись, уставились на дерзкого юношу. Затем круг снова сомкнулся, критики понимающе переглянулись и разошлись.

На сцене опять была декорация первого акта. Мягкий послеполуденный свет освещал комнату. Примирительные, ласковые слова разогнали все кошмары прошлого вечера, в жизни леди Уиндермир снова воцарились покой и доверие. М-с Эрлин удалилась под руку с лордом Огастусом. В заключение было даже произнесено нечто вроде благословения новобрачным.

Неистово аплодируя, публика вызвала автора. Он был во фраке, с папиросой в руке. Все встали. Ни в улыбке, ни в голосе Уайльда не чувствовалось ни малейшего смущения. Но, хотя он говорил громко, никто толком не запомнил того, что сам он впоследствии называл «моя очаровательная, бессмертная речь». А состояла она из двух-трех фраз примерно такого содержания:

— Леди и джентльмены. Я рад, что моя пьеса вам нравится. Мне кажется, вы оценили ее достоинства почти столь же верно, как я сам. А теперь разрешите мне докурить папиросу.

Опять грянули аплодисменты. Только газетчикам виделись не

хлопающие руки, а стиснутые кулаки. «Еще немного,— писала назавтра «Трут»,— и Уайльда могли избить. Никто не ожидал, что он с невозмутимым спокойствием совершит такой заранее обдуманный и бессмысленно оскорбительный поступок. Публика была ошеломлена. Когда же поняли суть происходящего, когда заметили, что так называемый автор благодарит за овации, куря папиросу, я увидел множество поднятых вверх кулаков. Люди хотели наброситься на него». Рецензенты высмеяли пьесу. «Панч» дал на первой странице рисунок — Уайльд, опершись на пьедестал, локтем сталкивает статую Шекспира. Все отзывы прессы были злобными, издевательскими, невыносимыми, но Уайльд чувствовал бы себя куда более задетым, если бы о нем молчали. Впрочем, он, как казалось, заключил неразрывный союз с публикой — поверх лагеря газетчиков.

После спектакля Уайльд дал ужин в «Кафе-роял». Когда он возвращался домой, зимний рассвет искрился, как шампанское, кипящее в резном хрустале. Десятка полтора фиакров везли следом его друзей. Чинную тишину лондонских улиц взрывал напор шумного веселья. Экипажи словно качались, как лодки, на волнах несмолкающего хохота. ˆ Возницы, лошади, сбруя — все было украшено цветами, не вянувшими под инеем. Сняв шляпу, Уайльд с развевающимися волосами и сияющим лицом, на котором алели пухлые губы и горели счастьем глаза, ехал впереди, подобный молодому богу, возглавляющему вакхическую процессию.

Спать он лег «на пурпурных простынях». То был великий день, начало новой жизни. Уайльд предугадал блеск этой зари в глазах Александера, когда тот, прочитав комедию, предложил за нее тысячу фунтов. «Я так доверяю твоему суждению,— возразил Уайльд,— что могу только отказаться от столь щедрого дара». И он заключил договор на тантьемы с представлений. Огромный успех «Веера» сделал его богатым, дал досуг, свободу и деньги, три вещи, без коих фантазия, как ее понимает денди, сводится лишь к пустым мечтам и бессилию. На конец-то он мог удовлетворить все свои прихоти, особенно голод по роскоши, томивший его всегда, даже в те годы, когда случалось терпеть настоящий голод. Теперь он имел то, чем прежде мог одаривать лишь героев своих книг. Дом на Тайт-стрит заполнился множеством красивых, дорогих вещей. Появились мраморные камины, инкрустированные слоновой костью столики, старинные ткани, парча, на окнах шелковые гардины, серебряные сервизы, редкие книги.

Проснувшись около полудня, Уайльд выпивал чашку шоколаду (старинный китайский фарфор), принимал ванну в

ванной комнате с фризом из оникса, набрасывал халат из стеганной шелком кашмирской шерсти и предавался размышлениям о «великом аристократическом искусстве совершенной праздности». В эти часы к нему наведывался брат Вилли. Вилли очень напоминал отца. Неряшливый, всегда будто плохо умытый, он распространял запах дешевых сигар и простецкого алкоголя, а лицо у него было мясистое, с размытыми чертами, как у людей переутомленных или невыспавшихся. Уже с порога он кричал:

— Оскар, мне нужны мысли.

Они были ему нужны всегда. Он писал в несколько газет, шлялся по редакциям, игорным домам, ночным кабакам.

Оскар вместе со своим креслом отодвигался к стене, у которой стояли две большие вазы — одна бронзовая, другая алебастровая — с цветами, источавшими сладкий, тяжелый аромат, и, куря одну за другой восточные папиросы, вкус которых всегда превосходит их цену, бросал брату, словно с облаков, политические статьи, готовые рассказы, занятные светские историйки, анекдоты, которые можно было куда-то вставить или обработать отдельно. Не раз Вилли запасался так на несколько недель.

Оскар перестал быть писателем. Теперь он, собственно, творил лишь устным словом, а его комедии были собранием и свободной композицией из блестящего обилия фраз, которые он разбрасывал каждый вечер. Их было куда больше, чем требовалось ему самому, и многие второразрядные писатели были обязаны лучшими своими страницами тому, что им удалось слышать Уайльда. Слово его в то время обрело необыкновенную красочность. Радость, глубокая, пылкая, дышащая счастьем радость возносит ум до высшего совершенства. Она наделяет его полной свободой и, очищая от всех страстей, придает почти беспредельную гибкость.

«Он играл этой мыслью все более и более дерзко; он подбрасывал ее вверх и преображал; позволял ей бежать и снова догонял; украшал ее радужными блестками фантазии и окрылял парадоксом. Хвала безумию возвышалась в его устах до Философии, а сама Философия стала юной и, увлеченная неистовой музыкой Наслаждения и словно бы надев залитое вином платье и венок из плюща, помчалась в пляске, подобно Вакханке, по холмам жизни, смеясь над трезвостью ленивого Силена. Факты разбегались перед нею, как спугнутые лесные звери. Белые ее ступни топтали гроздья в огромной давильне, у которой сидит мудрец Омар,— пока бушующий сок багряною волной не поднимается до ее нагих бедер или не поплывет

красною пеной по черным, покатым, скользким стенкам чана... Он был ослепителен, причудлив, безответствен. Он завораживал слушателей, и они шли за его свирелью смеясь».

С тех пор как Оскар это написал, прошло почти два года. Многое из того, что в «Дориане Грее» было мечтой, стало действительностью. Сходство с Генри Уоттоном весьма усилилось. Оскар унаследовал его титул «Принц Парадокс», который теперь никто не мог оспорить.

Эта блестящая форма была ему особенно мила. Она казалась ему в сфере мысли будоражащим фактором разложения, подобно преступлению в сфере жизни. Нередко парадокс создавался просто перевертываньем избитых выражений, поговорок, банальностей, но столь же часто был он внезапной молнией, озарявшей какую-то необычную, новую истину. Уайльд был мастером диалектики. В самых несхожих вещах он обнаруживал неожиданные подобия и умел находить несокрушимые доказательства для явных нелепостей. У тех, кого он побеждал в споре, часа через два появлялись самые блестящие аргументы, но при следующей встрече исчезали снова. В раскаленном тигеле быстрого его ума парадокс рождался почти стихийно, а предварявшие его наблюдения и мысли оставались невыраженными. В книгах многие эти блестящие мысли потускнели, будто драгоценные камни, превратившиеся в отшлифованные, но обычные камешки. Остроты, меняющиеся в своем тоне, в своей краске почти с каждым поколением, шуршат под нашими пальцами, как засушенные цветы. Впрочем, между тем, как он говорил, и тем, что писал, разница была столь велика, что некоторые из его друзей просто не могли его читать.

Он не имел себе равных в беседах того рода, где возникновение вселенной и вчерашние события сливаются в единой улыбке. Поразительная память, наполненная роскошью, развратом, разумом, безумием многих веков, хранила знания, приобретаемые умами особенно жадными, знания обширные, беспорядочные, неосновательные, красочные, расшитые узорами фантазии и грез. Он говорил обо всем: о золотом песке афинских гимна сиев и о темных дворах тюрем, о крематориях, гашише, заклинателях змей, об искусстве, о старинной утвари, драгоценных камнях, о вине, табаке, яствах. Единой дерзкой мыслью схватывал он грязь городского дна и величественные исторические фигуры, мелкие происшествия и великие события, воскрешал любимые свои светозарные образы Греции, расписывал мрачные картины пыток, будто с холстов Помаранчо или с гравюр Яна Луйкена, целую преисподнюю мук, какие только мог найти в старых хрониках или в пережитках человеческой злобы,

приоткрывал своды романских базилик, оживлял каменные сады готики, холсты, бронзу, мрамор музеев и, вдруг остановившись, возвращался в Рим, на Палатин, и чудилось, он когда-то там был, был Нероном, Оттоном, Домицианом, Антиноем, верховным жрецом Эмесы, который в тиаре, в расшитых самоцветами одеждах шествует по дорожкам, усыпанным серебряною и золотою пылью, дабы в окружении евнухов сесть за ткацкий стан, где под его бескровными пальцами пурпур превращается в кровавый, блещущий золотом сон приходящей в упадок империи.

На этом пути всегда оказывалось много свежих мыслей, точно историю следовало бы написать заново, и много старых идей, которые надо было развить иначе, в соответствии со своим веком, — каждое явление неожиданно обретало иной вид. От слов свободных или живописующих он вдруг переходил к речам глубоким, новаторским, умел быть точным, почти педантичным, и вдруг отбрасывал хронологию, документы, цитаты, чтобы высказать чью-то душу голосом чистого лиризма. Наконец, он рассказывал чуть ли не шепотом сказки. Тут он подбирал слова необычные, звучные, произносил их медленно, как бы смакуя, делал паузы между абзацами, голос его временами звучал громко, почти напевно, а взгляд живых глаз светлел, голубел. Все это, рождаясь под влиянием минуты, не производило, однако, впечатления случайной импровизации с провалами и мелями, а скорее имело черты произведения законченного и отделкой деталей напоминало миниатюрные вещицы из слоновой кости с золотом и драгоценными камнями. Стиль его сказок был слегка приглушенный, отдавал стариною, вещами, долго хранившимися в шкатулках и пропитавшимися ароматом древности.

О нем говорили: «Если когда-либо был человек, говоривший, как боги, так это Оскар Уайльд». Смысл таких восторженных отзывов для нас утерян, слава это го дивного мастера устного слова не может быть подтверждена ничем, кроме памяти тех, кто когда-то слышал Уайльда. В ушах нескольких ныне живущих стариков еще звучит мелодия его голоса, который сравнивали с «золотым голосом» Сары Бернар, и возможно, что Уайльд перенял кое-какие ее секреты. На английской почве он был единственным и несравненным волшебником живого слова, там подобного искусства никогда не знали. Сказать по правде, его произведения недостаточно это отражают. Все же они дают почувствовать, как великолепно мог сверкать свободный и широкий ум, когда его окрыляло всеобщее преклонение, и чувство счастья, наполнявшее все его существо, озаряло слушателей сиянием Юга. Для каждого, кто провел с ним хотя бы час, его имя уже навсегда было окружено таинственным очарованием. При нем душе становилось

легче. В этом нельзя сомневаться, раз, наряду со многими другими, он пленил утонченные и недоверчивые умы Шоу, Жида, Ренье, Барреса, Бурже, умы, которые легко распознали бы пустоту, будь Уайльд лишь созданием счастливого случая или преходящих увлечений.

С той памятной премьеры Оскар так легко и свободно вошел в роль большого барина, словно им родился. «Я никогда не хожу пешком и переписываюсь только по телеграфу». Он совершенно забыл о годах, проведенных на Солсбери-стрит и Чарлз-стрит, о закладывании часов и курении окурков — он отшвырнул те времена, как куколка свою оболочку. Впрочем, он никогда не оглядывался назад, теперь же целиком отдался тому, что он называл лучшим произведением своей жизни. «В книги я вложил только талант, жизни же отдал свой гений». В этих словах, кстати, есть и такой смысл: то, что могло бы показаться пустяком и обычно таковым является в жизни писателя — светские связи, одежда, наслаждение роскошью,— имело у него такое же значение, как подлинное творчество, а порой даже большее.

Можно предположить, что у некоторых натур проявляется таким образом жажда власти. Это натуры, в интеллектуальном смысле не имеющие определенного пола, духовные андрогины, воплощение изящества и причуд своей эпохи. Они господствуют над окружающими с помощью множества приятных, привлекательных пустячков, о которых все говорят, пожимая плечами, но которые в конце концов прививаются. А если — как в этом случае — к пустячкам присоединяется сознатель ное слово, ясная мысль, высокая умственная культура, тогда непременно возникает один из типов, которые история бережет в памяти о своем счастье, как хранит суровых героев в памяти о своих поражениях и бедах. Оскара Уайльда можно увидеть и понять в любой одежд е — в гиматие Алкивиада, в тоге Петрония, в далматике кого-либо из утонченных византийцев, в бархате Бальтазара Кастильоне, в камзоле графа Лестера, в голубом фраке герцога де Линь — и порой кажется, что костюм, который он носил в действительности и которому уделял столько внимания, был наименее подходящим и шел ему так же плохо, как Англия королевы Виктории.

Осуществляя идеал денди, Уайльд в девяностых годах избрал иной путь, чем тогда, когда надевал короткие панталоны и бархатный берет. О той ребячливой эксцентричности уже не было речи, то годилось для начала, чтобы привлечь внимание к молодому человеку, который еще ничего не значил. Теперь надлежало заняться игрою оттенков, творить необычное в границах условности, как создается своя собственная поэзия в

тесных правилах сонета. Итак, он отказался от Нероновой прически, отпустив волосы, разделявшиеся пробором посредине так, что они ложились на виски, прикрывая уши двумя густыми волнами. Одевался в согласии с господствующей модой, которую теперь сам отчасти изменял и формировал. Часы, проведенные у портного или в галантерейных магазинах, были отмечены торжественной скрупулезностью. Тут решались важные вопросы о черных сюртуках с шелковыми лацканами, о тех «великолепных рединготах», которым удивлялся Париж, о светлых панталонах в темную полоску, о повязанных с искусной небрежностью галстуках из зеленого шелка, о шведских перчатках стального цвета, о лакированных штиблетах, о шелковом цилиндре, равно обязательном и зимою и летом. Перед выходом из дому он долго перебирал драгоценности, прежде чем находил подходящую заколку для галстука, запонки, цепочку для часов, карандашик в серебряной или золотой оправе, и решал в зависимости от времени года, дня, погоды, настроения, какие надеть кольца. Выбирая трость из своей огромной коллекции, он нередко на час опаздывал. Наконец садился в экипаж и ехал к садовнику. Орхидея редкой красоты, букетик пармских фиалок или знаменитая зеленая гвоздика засовывались в объемистую бутоньерку, по его собственному рисунку вшитую в от ворот сюртука. Уплатив гинею, он подбирал еще на крону цветок для кучера.

Всем житейским мелочам Уайльд придавал вес и ко кую возвышенность. Завтракая или обедая в ресторане, он в окружении метрдотеля, официантов, повара выбирал блюда и напитки и устанавливал их порядок, как бы священнодействуя. Он предавался подробному обсуждению вкуса черепахового супа, обдумывал, в какой вине следует готовить форель, тетеревов велел обертывать листьями сицилийского винограда, блюда с переделами, дроздами, куропатками устилались листьями смокв или ананасов; Уиллису посылался заказ за день вперед, чтобы на поздний ужин, после театра, был прямо из Страсбурга доставлен свежий паштет. Он собрал много книг по гастрономии; «Almanac des Gourmands ou Calendrier nutritif»[10] в восьми томах, изданный в XI году революционной эры знаменитым Грино де л а Реньер, был его настольной книгой несколько месяцев, пока Уайльд не извлек оттуда всех тонкостей кухни и всех анекдотов. Из старых хроник, из описаний королевских пиров, из мемуаров он заимствовал необычные сочетания блюд и забытые рецепты. Повара в Альбермарл клубе он научил готовить описанный у Плиния «гарум», рыбную подливу из самых нежных внутренностей макрели, и убедил его перед тем, как резать

цыплят, неделю кормить их миндалем и поить гранатовым соком, как это делали при дворе Гарун-аль-Рашида. Он создал особую кулинарную географию: трюфели должны были доставляться из Перигора, устрицы — из Роше-де-Кан каля, лангусты — из Остенде, груши — из Ариччи, воспетые Овидием, яблоки тирольские, виноград испанский. Он отказался от бордо «Шато-де-миль-сек%с», которое когда-то пил с Уистлером в «Кафе-роял», и, в зависимости от блюда, требовал «Шато-Фило», «Иоган нисберг», «Пишон-Лонгвиль», «Шпарлинг-Мозель». Из шампанских вин были отброшены «Редерер», «Гайдсик», «Мумм», — остались только «Перье-Жуэ» и «Дагонэ» 1880 года, цвета янтаря и с запахом амбры, подававшиеся в больших хрустальных бокалах формы колокола. В Константинополе и в Каире всегда находился какой-нибудь молодой атташе, который с каждым курьером присылал Оскару лучшие папиросы. Для разных сортов были разные портсигары: золотой, серебряный, кожаный; он всегда носил при себе несколько и вынимал по очереди из кармана; не докурив папиросу и до половины, бросал ее, чтобы через несколько минут взять новую. «Папироса,— говорил он,— это высший вид высшего наслаждения. У нее тонкий вкус, и она не утоляет. Можно ли желать большего?»

Слово Уайльда приносило успех его открытиям, слово, полное торжественности, как если бы речь шла о делах государственных, и благодаря Уайльду в те годы изменилась английская кухня, как, впрочем, и многое другое. Он был советчиком и арбитром во всем, что касалось туалета, мебели, драгоценностей, духов; герцогини с удивлением смотрели на великолепного гиганта, который оценивал духи, прищурив глаза, будто всматриваясь в исчезающие на горизонте дали. Где бы он ни появлялся, ничто не оставалось на прежнем месте. В садах менялись цветы, на стенах — краски обоев, в старых замках старинные ковры, картины, портреты предков начинали бродить, как в час ночных страхов,

— L'art c'est le désordre[11],— говорил старик Франсуа, слуга лорда Хоика.

Свое беспокойство, жажду перемен и необычности Оскар нес в самые закоснелые крепости консерватизма, в дома английской аристократии. И все прекрасно понимали, 4то дело тут не в вышивке на скатертях, не в узле галстука или способе держать трость, а в определенном стиле жизни, в том редком, но пленяющем сочетании изысканного джентльмена с умом, находящимся на вершине современной культуры. Кто по его совету менял расстановку мебели в своем доме или направление дорожек в старом парке, тот одновременно сам подвергался более

глубоким изменениям под действием высказанных при этом нескольких фраз.

Уайльд распространял то, что задолго до создания «Дориана Грея» он называл одухотворением чувств. Со времен Оксфорда и лондонских кафе он верил в свою миссию. Без устали формируя и совершенствуя самого себя с помощью красоты, он был убежден, что своими сочинениями, своим словом и личным влиянием сделал очень много, чтобы привить ее на суровой английской почве. А понятие красоты для него почти не имело границ. У красоты столько же форм, сколько у человека настроений. Каждое наше чувство создано для наслаждения. Дух может с одинаковой свободой воспарять при виде коллекции бронзы, красиво сервированного стола, клумбы орхидей. Нет разрыва между ощущением пальцев, прикасающихся к изгибам античного торса, и мыслью, прикрепляющей к его выкрошившимся плечам ангельские крылья. Нет вещей дурных или порочных, есть красота и безобразие, изысканность и пошлость.

Сражение с пошлостью он вел на всех полях, преследовал ее в ходячих фразах, в мещанских пороках, в лицемерии нравов, в жизни без впечатлений. То был великолепно развитый эпикуреизм молодого Мария из романа Уолтера Патера, утонченная алхимия, добывающая из будничной жизни столько поэзии и изящества, что их хватает прикрыть все остальное, жалкие лохмотья дней наших, которые за этим ореолом исчезают, просто перестают существовать. И то, что считали эксцентричностью Уайльда, было всегда стремлением к некоему идеалу, к неведомым мирам, к дальним блаженным краям.

Он был человеком, которому в Англии больше всего удивлялись и которого больше всего ненавидели. Он обожествлял самого себя. Период своей жизни он считал великим временем в истории человечества. В тюрьме, лишенный всего, что имел, в нелепой, грубой одежде, находясь в вонючей камере, как бы в подземелье жизни, он писал о своем величии с непостижимым восхищением:

«Я сделал искусство философией и философию искусством. Я изменил души людей и облик вещей; все, что я делал или говорил, изумляло. Я взял драму, самую объективную форму, какая известна искусству, и сделал из нее средство выражения столь же глубоко личное, как лирическое стихотворение или сонет, и одновременно расширил ее рамки и обогатил ее новыми характерами. Драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, утонченный или причудливый диалог — все, к чему я прикасался, я наделил новою красотой; самой истине я отдал во владение не только истинное, но и ложное, как две половины ее царства, и

доказал, что ложное и истинное — всего лишь формы бытия нашего разума. Искусство я рассматривал как высшую действительность, а жизнь — как один из видов вымысла. Я пробудил воображение своего века, и оно окружило меня мифом и легендой».

У каждого поколения свой облик, свой взгляд, своя улыбка, свое особое очарование. Поколение Уайльда, внешне, казалось бы, нам близкое, еще связанное с нами столь многими живыми нитями, так сильно для нас поблекло, что мы часто не знаем, в каких оттенках проявлялось превосходство Уайльда, какая необычность его черт рассеивала строгие морщины его эпохи. Ныне, когда от него осталась всего лишь стопка осиротелых книг, ничто не возродит нам красок, тонов, бликов, которыми он придавал себе блеск, и, вспоминая его триумфы, нас уже не волнующие, мы лучше воздержимся от обычного пренебрежения к старомодной элегантности. Но между 1892 и 1895 годами мало было людей, которые — если только не питали ненависти или острой вражды — отважились бы посягнуть на неоспоримое владычество Уайльда. И конечно, было бы удивительно, если бы те, кто наиболее яростно на него нападал, сумели не поддаться его влиянию.

Бесчисленные фотографии и карикатуры на Оскара Уайльда несколько десятков лет обитали во дворцах, мещанских домах, даже в мансардах. Во многих романах этого периода, если и не выступал под вымышленным именем он сам, в чертах героев было хоть отдаленное сходство с ним. Частыми ссылками на Петрония он очертил в воображении своего века несколько смутные контуры «арбитра изящного», начинавшего оживать под пером Сенкевича, когда Оскар был на вершине своей славы, и обретшего вновь многие свои выражения, но главное, тон речей, патрицианскую скуку и лень в диалогах «Intentions»[12] и в «Дориане Грее». В Лондоне появилась книга, название коей «Green carnation» («Зеленая гвоздика») ясно говорило, кто выведен в образе Эсме Амаринта. Описывалось там общество молодых бездельников с чрезмерно чувствительными нервами и эстетической восторженностью, связанных между собою легко угадываемыми отношениями, говорящих парадоксами и возвещающих евангелие бессмыслицы. Автором был некий Роберт Хиченс, который случайно повстречался Уайльду в Египте и не отставал во время всей его поездки по Нилу, да и потом, в Лондоне, некоторое время увивался вокруг него. Хиченс был музыкальным рецензентом «Уорлд».

Книга представляла собою неприкрытый пасквиль и в любом другом случае привлекла бы внимание полиции. Но Оскар стоял

слишком высоко. Титул Принца Парадокса, который он сам себе создал и навсегда связал со своим именем, как бы оправдывал исключительность его положения, делая его равным с пэрами Англии. Он чувствовал себя принадлежащим к высшей аристократии, он был для нее образцом и законодателем ее прихотей. Да он всегда принадлежал к ней по своим склонностям, вкусам, предрассудкам. Было в этом немного снобизма, но куда больше — романтического воображения, которое возбуждали древние фамилии, звучащие как эхо баллад и Шекспировых стихов. У него были друзья из самых знаменитых родов. Ни в одном дворце не сочли бы вечер, проведенный с Оскаром Уайльдом, унижением для старинных гербов. Принц Уэльский, будущий Эдуард VII, чувствуя угрозу своему давнему званию короля моды, скрывал досаду под маской любезности — его не раз видели в Опере под руку с Уайльдом. Впрочем, Уайльда не называли королем моды, его называли King of Life — Королем жизни. Il fut roi par la grâce de la Grâce[13].

V

> Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: Parce que c'était lui, parce que c'était moi[14].
>
> *Монтень*

Осенью 1891 года поэт Лайонел Джонсон посетил Оскара Уайльда в обществе стройного, изящного юноши с глазами цвета фиалки и золотистыми волосами. Красавец эфеб звался лорд Альфред Брюс Дуглас и был третьим сыном маркиза Куинсберри. Ему минул двадцать один год. М-с Уайльд подала гостям чай и исчезла, прежде чем гости успели обратить на нее внимание. Джонсон, завладев бутылкой коньяка, молча сидел в своем углу. Уайльд говорил весь вечер необычно оживленно. Дуглас слушал с упоением. Сам он едва ли сказал несколько фраз, признался, что пишет стихи. После его ухода в памяти Уайльда осталось «ангельское выражение» непорочного лица, словно сделанного из слоновой кости и лепестков розы.

У Оскара, который в тот день дописал последний акт «Веера леди Уиндермир», создалось чувство, что это чудесное явление посетило его дом не без влияния звезд. На тридцать шестом году жизни он вдруг поддался власти непонятного. Поверил, что каким-то чудом к нему явилось живое, зримое воплощение идеала. Так недавно чувствовал он над собою парение творческого духа, из которого возник Дориан Грей, что неожиданное это приключение могло показаться новым чудом Пигмалиона: создание фантазии предстало в телесном облике, ничего не утратив из своего очарования.

В доме на Тайт-стрит всегда многого не доставало для счастья. Довольно скоро после свадьбы прекратилось между Оскаром и Констанцией то, что для него было нервом жизни,— беседа. Они попросту находились на разных ступенях интеллектуальной лестницы. Уже через год — и то если щедро заокруглить срок — обозначилась пропасть, стоя на противоположных сторонах коей два существа только перекликаются в силу повседневных надобностей. В обществе жены Оскар редко давал волю своим мыслям и говорил в основном то, что могло соответствовать ее чувствам и понятиям, — во избежание скучной необходимости переубеждать. Он никогда не мог упрекнуть ее ни в чем, что входило в скромный идеал примерного, почтенного супружества, но и не испытывал тоски по ее словам, взглядам, по ее присутствию.

Тот, кто попытался бы пробудить в нем нежность, потратил бы время зря — это был бы, по его словам, «разговор перса, живущего в зное и любящего солнце, с эскимосом, прославляющим китовый жир и шестимесячные ночи в духоте снежного дома». Он никогда не умел быть добрым той заурядной добротой, которая складывается из толики обычной трусости, из неразвитого воображения и не слишком высокого мнения об ответственности перед собой. Констанция, уставшая от семейных забот и неожиданно воцарившейся в доме роскоши, едва заметила, что Оскар совершенно от нее отдалился.

Немного спустя после первой встречи Дуглас прислал сонет. Если бы с этого листка бумаги на Оскара не смотрело лицо юного лорда, он не стал бы читать дальше первой строфы. Подпись тоже не внушала доверия — точка после фамилии, возможно, указывала на недостаток воображения. Но Уайльд находился в Кромере, и к этим студенческим виршам сразу примешался шум моря. Он ответил письмом, как бы отрывком из сонетов Шекспира.

«My own boy»[15], сонет твой захватывает, просто удивительно, насколько твои розовые губы равно созданы для песен и для поцелуев. Твоя легкая золотая душа витает между страстью и поэзией. Никакой Гиацинт во времена древних греков не стремился к любви столь самозабвенно. Почему ты сидишь в Лондоне один и когда поедешь в Солсбери? Поезжай туда и охлади свои руки в серых сумерках готических зданий. Потом возвращайся сюда. Здесь премило, только не хватает тебя. Но прежде съезди в Солсбери.

С неумирающей любовью всегда твой

Оскар».

На письменном столе стояла фотография Дугласа в студенческой форме, в берете с квадратным донышком. Под жестким воротничком был повязан смешной галстучек в светлый горошек, а сюртук из грубого сукна морщился у верхней пуговицы забавно, неуклюже, очаровательно. Столь же забавной и очаровательной казалась складка век — левый глаз полуприкрыт, а правый широко раскрыт. В лице было столько наивной суровости, сколько можно собрать в двадцать лет, за которые еще ничего не произошло. Наполнить светом эти чистые, еще ничего не ведающие глаза, блистательным словом заставить эти прямые, робкие губы разомкнуться, придать легкость этим опущенным, праздным рукам!

Счастье представало в таком виде: оба усаживались у камина, рядом коробка с папиросами, на столике рейнское вино и зельтерская вода. В такие минуты Оскар слышал, как его

собственная мысль переливается в это чужое и близкое существо, и каждое слово Дугласа действительно отвечало ему, будто эхо — уже докатившимся и нашедшим новые свои берега волнам.

С невозмутимой серьезностью, с религиозным пафосом, как некий magister vitae[16], Оскар предсказывал, что должна наступить эпоха нового гедонизма, который преобразует жизнь и рассеет противное строгое пуританство. Несомненно, это будет культ разума, однако ни одна теория, ни одна система, отрекающаяся от каких бы то ни было страстей, не будет принята. Весь мир не стоит одного-единственного удовольствия, которого он нас лишает. Жизнь должна стать самим опытом, а не плодом опыта — неважно, сладким или горьким. Если бы хоть один человек прожил свою жизнь со всей полнотой, если бы он нашел форму для каждого чувства, выразил каждую мысль, осуществил каждую мечту, мир охватил бы такой свежий порыв радости, что люди забыли бы о всех недугах средневековья и вернулись бы к эллинскому идеалу, а быть может, и к чему-то более тонкому и богатому, нежели эллинский идеал. Но даже отважнейший боится самого себя. А между тем подавленное желание растет и отравляет душу. Единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему без колебаний.

Борьба с искушениями — это попросту препятствие на пути прогресса. Совесть — признак отсталости. Надо заменить ее инстинктом, облагороженным культурою. То, что называют грехом,— важный элемент прогресса. Без него мир коснел бы в застое, одряхлел бы и поблек. Грех расширяет опыт рода человеческого, углубляет индивидуализацию, спасает от однообразия типов. Отбрасывая изношенные понятия морали, мы ускоряем рождение новой этики. Впрочем, эстетика выше этики, как красота выше добра. Даже способность тонко различать цвета важнее для развития индивидуума, чем сознание добра и зла. Воспитанные красотою, очищенные ее светом, мы достигнем совершенства, какого не достигали святые, ибо мы без аскезы, без отказа от чего бы то ни было, сможем делать все, чего пожелаем, не нанося ран душе. Душа же станет настолько богоподобной, что сумеет вместить, к вящей своей славе, даже те мысли, поступки или чувства, которые у людей пошлых были бы пошлыми и достойными презрения. Мы будем как греческие боги — в наслаждении непорочны, во всяческой любви незапятнаны.

Самые тяжкие грехи совершаются в мозгу. То, что у Уайльда при его высокой умственной культуре чаще всего было лишь мечтами богатого воображения, сочетаясь с множеством образов идеальной красоты и превращаясь в чистое, бесстрастное созерцание, то в маленьком мозгу Дугласа, негусто засеянном

школьной наукой и довольно небрежным воспитанием, укрепилось как удобный катехизис потакания страстям и прихотям. В своем благодушном цинизме Оскар не замечал, что слова его бушуют и кипят в беспокойной душе юноши,— среди страстей, которые прежде внушали тревогу, среди приглушенных страхом мыслей, воспоминание о которых окрашивалось румянцем стыда. Оскара привлекал дикий нрав Дугласа, скрытый за почти девичьим обликом. Р ядом с огромным Оскаром Бози казался невысоким, слабым, хрупким, и было невыразимо приятно чувствовать, насколько Бози другой. Оскара восхищали каждое его движение, улыбка, выражение лица, виделось особое очарозание в нежности красок, в изяществе черт. Все в Бози казалось Оскару совершенным. Каждый поступок друга он готов был одобрить, не желая и думать о том, что юный лорд мог бы поступить иначе. Любя Дугласа, Оскар обретал самого себя в облике юного красавца, в чьих жилах течет королевская кровь.

Оскар потакал всем его капризам, посылал в деревню корзины винограда и папиросы, навещал в Оксфорде и опять звал к себе, ревновал к каждому, кто к нему приближался. Даже краткая разлука была невыносима. «Я уже не надеюсь,— писал Уайльд однажды около полуночи,— что ты нынче придешь, ведь уже так поздно. Может быть, утром получу от тебя весточку. Ты знаешь, какой радостью будет для меня вновь тебя увидеть». В конце концов они обменялись перстнями — как помолвленные.

По тому, как вскружилась голова, молодой лорд чувствовал, на сколь высокой вершине он очутился. До сих пор в его жизни были лишь мелкие прихоти да ребяческие выходки, уместные в тесных рамках Оксфорда. Горести измерялись числом морщин на лбу вице-канцлера или выговорами проктора, самым волнующим событием могла быть победа колледжа Магдалины в лодочных гонках и венчавший ее студенческий пикник. Дома царили скука и блистательная бедность, которую не удавалось скрыть полутора тысячами фунтов ренты, доставшейся леди Куинсберри после развода. Попав в широкий, бурный поток жизни Оскара, Бози прилип к нему, как тень. Юноша был пленен обаянием его ума, положением в мире искусства, славой и щедростью — короче, множеством черт, составлявших великолепный, неправдоподобный образ Короля жизни.

Они путешествовали вместе. То были великосветские поездки в Париж, Венецию, Флоренцию, Рим, Алжир, куда угодно, поездки ненадолго, как бы лишь для того, чтобы взглянуть на любимый пейзаж, уловить особый эффект освещения или полакомиться необычным блюдом, которое умеют готовить только в этом месте. Рука под руку ходили они по музеям, дворцам, церквам, но,

прежде чем Оскар успевал найти слова для их красоты, Бози гнал ее прочь взрывом своих первобытных инстинктов. Больше, чем на две недели, они нигде не задерживались. Возвращались всякий раз внезапно — из-за неожиданных перемен в капризах Дугласа, который становился все более требовательным и нетерпеливым.

Уайльд не мог себе позволить даже быть осторожным. Когда однажды он вошел в ресторан «Савой» через боковой вход и сел в отдаленном углу зала, Бози целый день не давал ему покоя.

— Я не хочу, чтобы ты входил через эти двери. Я требую, чтобы ты входил в «Савой» через главный вход, со мною. Чтобы все нас видели, чтобы каждый мог сказать: «Вот идет Оскар Уайльд и его миньон».

Бози давно перестал быть архангелом Рафаилом, каким показался Уайльду при первой встрече. В нем бушевала дикая натура его рода, на протяжении веков дававшего миру извергов, преступников и самоубийц. Поверхностная культура не развила в нем поэтичности и не подняла на высокий уровень умственной жизни. Из двух миров — реального, о котором не надо говорить, чтобы его увидеть, и воображаемого, существование которому дает лишь слово,— из двух этих миров для лишенного воображения Бози только первый обладал формой и значением. Бози был равнодушен ко всему, что не касалось еды, питья, развлечений, мюзик-холлов, парней, которых Уайльд угощал обедами в отдельных кабинетах, рассказывая им о палестрах и греческих эфебах. Единственную тему их бесед составляло то, что в светозарном кругу Платонова «Пира» или при взгляде на некоторые античные статуи могло иметь высокое очарование, могло породить новую версию прекрасной легенды, но стало чем-то гнусным при столкновении с людьми, которые крали письма Уайльда и вымогали у него деньги. Знакомства Дугласа отнюдь не имели основой «постижение высшей красоты через видимую форму».

Весною 1892 года приехала Сара Бернар. В театре «Палас» она должна была играть в «Саломее». На третью репетицию явился чиновник из цензуры — оказалось, что пьеса оскорбляет религию. Лорд-канцлер, которого Уайльд встретил в клубе, сослался на закон, запрещающий представлять в театре сюжеты из Священного писания.

— В таком случае,— сказал Уайльд,— вам придется вычеркнуть половину истории английской драмы.

Сановник пожал плечами. Уайльд вспылил:

— Решительно, в вашей Англии жить невозможно.

Когда-нибудь я переплыву через Канал, чтобы больше не возвращаться. Приму французское гражданство.

— Думаю, это было бы для вас лучше всего по многим соображениям, мистер Уайльд.

— Англия является Калибаном девять месяцев в году и Тартюфом — три остальные.— Эти слова Уайльд произнес, обращаясь к своим друзьям, но достаточно громко, чтобы его мог слышать лорд-канцлер.

В одной из парижских газет он написал, что намерен принять французское гражданство. «Я пришел к этому решению после долгих раздумий. Раз мне не дают поставить мою пьесу в Англии, я переезжаю в страну, которую давно уже люблю». Назавтра «Панч» поместил карикатуру — Оскар в виде французского рекрута, из солдатского ранца торчит рукопись «Саломеи».

В Лондоне «Саломею» знали только по слухам, доходившим из театра «Палас»,— говорили, что там есть возмутительные сцены, что в паже Иродиады изображен Оскар, а в молодом сирийце — лорд Альфред. Впрочем, и сам французский язык считали безнравственным.

В феврале следующего года «Саломея» вышла отдельной книжкой, изданной парижской Librairie de l'Art Indépendant[17]. Корректуру, по просьбе издателя, смотрел Марсель Швоб и, отсылая ее с несколькими незначительными изменениями, написал на полях: «Пусть никто не смеет исправлять непосредственный стиль Уайльда в духе стиля Французской Академии». Издание представляло собой изящное «кварто», восемьдесят четыре страницы веленевой бумаги с неразрезанными листами, переплет фиолетового цвета, буквы серебряные. После титульного листа посвящение: «A mon ami Pierre Louys»[18]. Отпечатано было шестьсот экземпляров.

Бози получил книжку в переплете зеленого сафьяна с золотыми ненюфарами. Он тут же принялся переводить ее на английский язык. Часть своей рукописи он привез в Торки, где они с Оскаром собирались провести несколько недель. Обнаружилось, что Бози вносит в текст собственные домыслы, произвольно и неудачно его меняет. Уайльд сделал замечание. Дуглас воспылал гневом.

— Ты тщеславен,— кричал он,— тщеславен до глупости. Ты считаешь себя самым великим человеком в мире, а ты просто плохой поэт. Я поэт, а не ты.

И он швырнул рукопись к ногам Оскара.

Когда Бози садился в экипаж, Оскар крикнул из окна:

— Клянусь всем, чем хочешь, отныне между нами все кончено. Кончено.

Дуглас погрозил ему кулаком. А на другой день прислал телеграмму из Бристоля. Несколько часов спустя прибыло

письмо. Бози просил прощения и спрашивал, можно ли вернуться. Оскару хотелось поехать встречать, но он остался. Все, что он намеревался высказать Бози, все горделивые и язвительные слова улетучились при виде Альфреда. Вместе возвратились они в Лондон, а потом Оскар проводил его в Оксфорд.

«Чувствую себя очень одиноким без тебя,— писал Оскар на следующий день,— вдобавок угнетают денежные затруднения. Как это неуютно — жить в стране, где культ красоты и любви считают преступлением. Ненавижу Англию. Могу ее переносить только потому, что в ней живешь ты, my darling boy...»

«Веер леди Уиндермир» уже приносил лишь скромные тантьемы из провинциальных и заграничных театров. Надо было спешно заканчивать вторую комедию. «Женщина, не стоящая внимания» была представлена 19 апреля 1893 года в театре Хеймаркет, одном из лучших, и имела еще больший успех, чем первая. Ее давали беспрерывно до конца сезона, а с началом следующего сезона она опять вошла в репертуар. В день премьеры Бози получил запонки, изготовленные по рисунку Оскара,— четыре селенита в виде сердечек, перемычки серебряные, украшенные брильянтами и рубинами. Бози продал их в Оксфорде, чтобы уплатить студенческий долг.

На лето Оскар снял дачу в Горинге, на берегу Темзы. Бози сам выбрал дом и привез туда своего слугу. Через неделю покой и тишина ему наскучили. Он пригласил нескольких приятелей из Оксфорда, которые три дня наполняли дом невероятным шумом. Назавтра после их отъезда на Альфреда по какому-то пустячному поводу нашел приступ его необузданной ярости, посыпались брань и проклятия — это было отвратительно. Игра в крокет прервалась. Оскар молча отвернулся, ему вдруг захотелось, чтобы Дуглас умер, и он боялся, как бы тот не прочитал эту мысль на его лице. Только почувствовав, что вид прелестного луга умиротворил его искаженные гневом черты, Оскар мягко сказал:

— Бози, мы только портим себе жизнь. Ты меня губишь, и я не могу дать тебе счастье. Расстаться, расстаться навсегда — вот единственно разумное, что мы можем сделать.

Дуглас уехал. Через три дня он прислал из Лондона телеграмму, в которой отказывался от своих слов, умолял простить. Потом вернулся.

Лето было такое жаркое, что даже кататься на лодке по реке не хотелось. Бози раздевался догола. Оскар обливал его водою из шланга для поливки цветов. Однажды они не заметили, что в сад кто-то вошел.

— Я — пастор этого прихода.

Уайльд сидел в плетеном кресле, укутавшись в мягкий

купальный халат. При звуке сухого, скрипучего голоса он обернулся и увидел черную, худощавую фигуру. Лысый череп слегка качнулся в поклоне, костлявые, желтые руки прижимали к груди черную шляпу.

— Рад приветствовать вас.— Уайльд как мог плотнее и благопристойнее запахнул на себе халат.— Вы явились в самую удачную минуту, чтобы полюбоваться сценой из греческой древности.

В нескольких шагах лежал на траве Бози, совершенно голый. Пастор, смутясь, минуту постоял с раскрытым ртом, затем убежал. Еще в прихожей дома он слышал громкий смех Уайльда.

Двенадцать недель, почти без перерыва, Оскар находился в обществе Дугласа. Он был утомлен, нуждался в покое и отдыхе. В Динарде, куда он поехал к концу лета, он искал более светлых дней, подальше от этих тревожащих голубых глаз. Через две недели он вернулся в Лондон и снял на Сент-Джеймс-плейс небольшую квартирку, где мог бы работать. Дугласу убежище было неизвестно, а тем временем там созревала комедия «Идеальный муж».

Но и там нашлось вдоволь щелей, через которые вползала праздность. Ведь Оскар уже давно из всех трудов творчества оставил себе лишь самое приятное занятие — мечты. Он так долго довольствовался этим бесплодным флиртом, что стал бояться долгих мук, с какими рождается произведение. Ему стала чуждой борьба, одновременно страшная и заманчивая, со словом и мыслью, он не испытывал безграничного отчаяния и горя от разлуки с листом бумаги, не видел нависшего над го ловою, готового обрушиться черного свода,— он уже мог только подчиняться равномерному колыханию подсказанных разговором фраз и принимал легкость за мастерство.

Вскоре Уайльд затосковал по Дугласу. По его смеху, голосу, даже по его крикам. Думал уже только о том, что скажет, когда тот появится опять, как будут звучать слова Бози, какой блеск будет в глазах, в каком Бози будет настроении.

«My dearest boy,— написал он наконец,— это действительно нелепо: я не могу жить без тебя. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю о тебе целыми днями, мне не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта... Твоя дивная жизнь всегда рядом с моей жизнью... Какое счастье, что в мире есть кто-то, кого можно любить!»

Назавтра Дуглас оказался в квартире на Сент-Джеймс-плейс. Он был лучезарно светел в костюме из желтой фланели, и лишь три цветные пятна выделялись на фоне этой палевой гармонии:

голубые глаза, розовый галстук и сиреневый уголок платка в кармашке. О работе уже не было речи. Оскар, правда, как и прежде, садился в половине двенадцатого за стол, но почти в ту же минуту доносился стук колес экипажа. Появлялся Дуглас, курил папиросы, болтал до половины второго. Затем ленч. Они ехали вместе в «Кафе-роял» или в «Беркли». Черный кофе и ликеры затягивались обычно до половины четвертого. Дуглас на час заходил в Уайт-клуб. К пяти он уже возвращался. Пили чай, надевали фраки и ехали в «Савой» — обедать. Когда на следующий день Оскар вспоминал, чем занимался накануне, его охватывало чувство тщеты и невыносимой пустоты. Хотелось вернуть время, прожить час за часом по-иному — было грустно до слез. Так продолжалось три месяца с перерывом в четыре дня, которые Альфред провел за границей. Оскар ездил в Кале — встретить его.

За отсутствием других поводов то и дело вызывал яростные стычки перевод «Саломеи». Трудно поверить, сколько злобы может уместиться на крохотном пространстве между подлежащим и сказуемым в таких простых и кратких предложениях. Казалось, в этой борьбе французского слова с английским ожила извечная ненависть двух рас, отделенных узкой полосой моря. Все, что в синтаксисе, морфологии и лексике обоих языков до ставляет мысли писателя наслаждение, становилось для двух друзей причиною стычек и ссор. Наконец рукопись все же была готова, и Уайльд дал согласие на ее печатание. Тогда-то Росс познакомил его с Бердсли.

Бози с первой же минуты возненавидел этого семнадцатилетнего юношу с волосами тициановских женщин, с голубыми глазами и с преждевременной зрелостью, которая произвела впечатление на Оскара. «Человек-орхидея» был выбран иллюстрировать «Саломею». Текст был ему совершенно безразличен. Литературой он не интересовался, как и всем прочим, не имеющим отношения к живописи. Уайльда он считал чем-то вроде искусного канатоходца. Но это не мешало их совместной работе, которая, в общем-то, сводилась к обедам в «Савое», Уайльд всякий раз заказывал абсент.

— Абсент подобен твоим рисункам, Обри. Он действует на нервы, и он жесток. Бодлер назвал свои стихи «Fleurs du Mal» («Цветы зла») а я бы назвал твои рисунки «Fleurs du Péché» («Цветы греха»). Когда я гляжу на них, мне хочется пить абсент и кажется, будто я живу в императорском Риме, в Риме последних императоров.

— И подумай, Оскар, как проста была тогда жизнь,— тихим, усталым голосом говорил Бердсли.— Нерон зажигал христиан,

будто большие свечи, и это единственный свет, который когда-либо исходил от христианства.

Когда Бози слушал это, ему хотелось опрокинуть стол и поколотить Бердсли. Ему не было дела до христиан, но невыносимо было видеть, как взгляд Оскара прикован к этим прелестным розовым устам, так легко произносящим слова, которые ему, Альфреду Дугласу, не пришли бы на ум даже при величайшем усилии. Но бешенство его было напрасным. Бердсли обладал слишком агрессивным нравом, был слишком непримирим как художник, чтобы его отношения с Уайльдом могли выйти за пределы взаимного презрения. Стоило Альфреду сказать несколько слов, и Оскар проникся неприязнью к Бердсли. «Саломея» с его иллюстрациями так и не удостоилась места в библиотеке на Тайт-стрит.

Дуглас был безраздельным владыкой мыслей, времени и денег Оскара. Он ел, одевался и развлекался за счет друга. Оскар оплачивал все, начиная от парикмахера, брившего Альфреда по утрам, и кончая фиакром, от возившим его ночью домой. Оскар иногда давал ему понять, что некоторые прихоти он мог бы оплачивать деньгами семьи. У Альфреда не хватало духу сокращать скромные средства матери. Оскар пытался умерить эту похвальную заботу о кошельке леди Куинсберри.

Высказаться более резко он не смел. В своем отношении к Альфреду он становился все малодушней, и вся его решительность исчерпывалась только мыслями да молчаливыми обетами.

— Благие намерения — это чеки на банк, где у вас нет счета, — изрек Уайльд однажды, меланхолически качая головой и не объясняя, чем подсказан этот афоризм. Если случайно и вырывалось резкое слово, он тотчас его заглаживал нежностью и лестью; не только в письмах, но и в обычном разговоре он осыпал Альфреда самыми восторженными комплиментами, лишь изредка позволяя себе небольшую жалобу.

— Мне очень жаль, Бози,— не раз повторял он,— что ты смотришь на меня как на человека полезного. Каждому художнику это неприятно. Художники, подобно самому искусству, по природе своей бесполезны.

Эти осторожные фразы приводили Альфреда в бешенство. Человек, которого Оскар называл «утренней звездой жизни», злился, кричал, хлопал дверями. Забежав в клуб, писал там оскорбительное письмо и отсылал его со служителем. Минуту спустя появлялся сам, прежде чем Оскар успевал дочитать письмо, и спрашивал, заказан ли обед в «Савое» и куда они пойдут вечером. Уайльд, слабый и беззащитный при его

вспышках, уступал и всегда удовлетворял все его требования. «Для меня было сладостным унижением позволять Оскару оплачивать мои расходы»,— сообщал Дуглас несколько лет спустя, так и не зная, о каких суммах шла речь.

Уайльд не был расточителен. Довольно щедрый по натуре, он всегда умел умерять свои прихоти. Обеды в итальянском ресторанчике с верным и степенным Робертом Россом обходились по полкроны с человека, а из разговоров за столом возникли диалоги «Intentions». Жизнь с Дугласом была бесплодным мотовством. В тюрьме Оскар нашел время подсчитать потраченные им крупные суммы. Он так точно их указывал, что можно было бы подумать, будто у него сохранились какие-то счета или записи, но в камере у него не было ничего, кроме пера, чернил, чистого листа бумаги да преисполненной горечью памяти.

«Если я тебе скажу,— писал Уайльд,— что с осени 1892 года до дня моего ареста я потратил с тобою и на тебя более 5 тысяч фунтов наличными, не говоря о векселях, неужели ты решишь, что я преувеличиваю? Мои обычные расходы с тобою за обычный день в Лондоне — ленч, обед, ужин, развлечения, экипажи и пр.— составляли от 12 до 20 фунтов, и, очевидно, расходы за неделю соответственно достигали от 80 до 130 фунтов. Три месяца, проведенные нами в Горинге, обошлись мне в 1340 фунтов».

Леди Куинсберри удалось отправить сына в Египет. Оттуда он должен был поехать в Константинополь, чтобы занять должность атташе в британском посольстве. В квартире на Сент-Джеймс-плейс рукопись «Идеального мужа» возвратилась на письменный стол. За несколько недель три акта комедии достигли последней ремарки «занавес», и осталось еще время сделать набросок «Флорентийской трагедии» да написать несколько страниц ритмической прозы «La sainte courtisane»[19]. Работа была не слишком трудная, в «Святой блуднице» повторялись обороты, найденные при создании «Саломеи». Уайльд никогда не понимал, что, если хочешь создать нечто великое, надо напрячь силы до пределов твоих возможностей, не раздумывая о том, большая ли это вещь, или малая,— он всегда больше говорил, чем писал, умилялся своим произведениям, сам говорил о них с восторгом, никогда не трудился, что называется, изо всех сил и в конце концов оставался при блестящих мелочах, которые равно удовлетворяли и его тщеславие и лень.

Между тем письма Дугласа лежали нераспечатанные. Леди Куинсберри просила Уайльда ответить ему. Но ни одно ее слово, ни одна фраза не могли нарушить ленивую тишину его равнодушия. Бывали минуты, когда он только с величайшим

усилием мог припомнить рисунок бровей, так симметрично, так изящно изогнутых над этой парой глаз, чей взгляд, отделенный тысячами километров, никак не мог его отыскать.

Дуглас наконец стал слать телеграммы жене Уайльда. Констанция читала эти длинные, тревожные телеграммы совершенно ошеломленная. Имя, которым они были подписаны, было для кее ненавистнее всех имен, какие когда-либо обременяли ее память. Оно начиналось с той же буквы, что и «дьявол», и в воображении Констанции два этих слова звучали одинаково. Уже несколько лет ей казалось, будто муж околдован нечистой силой. Подавая Дугласу руку или чашку чая, встречая его взгляд, даже слыша его голос в соседней комнате, она всегда испытывала в душе глубокое содрогание. Никто и не догадывался, чего ей стоили каждое любезное слово, каждая улыбка, которыми она его встречала. Впрочем, слов, какими они обменялись, не хватило бы, чтобы заполнить одну страницу почтовой бумаги. Поэтому ее поражал обрушивавшийся теперь на нее поток фраз, оглушавших ее, несмотря на дальность расстояния. Она не знала, что делать. Держа полные пригоршни этих слов гнева, отчаяния и угроз, она, чудилось ей, держала в своих руках какое-то неведомое, неминучее несчастье. Ее руки никак не могли справиться с такой ношей. Она аккуратно, по датам, сложила все телеграммы на столе мужа и в полной растерянности не придумала ничего иного, кроме того, что было для нее легче всего: просить мужа ответить Дугласу.

В тот же день была отправлена в Афины телеграмма, где говорилось, что время все исцеляет. Дуглас немедленно выехал в Париж. С дороги он присылал страстные, умоляющие телеграммы, добиваясь встречи. В гостинице застал короткое письмо, в котором Уайльд сообщал, что приехать не может. На другой день утром принесли на Тайт-стрит телеграмму в одиннадцать страниц. «Не может быть, Оскар, чтобы ты не хотел меня видеть. Я проехал всю Европу, ехал без передышки шесть дней и шесть ночей, чтобы тебя увидеть, хотя бы один час». В конце он угрожал самоубийством.

Несколько лет спустя Уайльд размышлял над тем, что его тогда побудило уступить.

«Ты сам часто рассказывал, сколько было в вашем роду обагривших руки собственной кровью,— твой дядя наверняка, а возможно, и твой дед в числе других членов твоего безумного, буйного рода. Жалость, давняя привязанность к тебе, забота о твоей матери, для которой твоя смерть при таких страшных обстоятельствах была бы непереносимым ударом, ужас при мысли, что такая молодая жизнь, в которой, несмотря на все

плачевные ошибки, была еще надежда на нечто прекрасное, могла бы окончиться столь страшно, да и простое человеколюбие — все это, коль надобны тут оправдания, может служить оправданием моего согласия на то последнее свидание с тобою».

Дуглас в Париже встретил Оскара слезами. Он плакал во время обеда у Вуазена и за ужином у Пайара, Он не выпускал рук Уайльда из своих горячих ладоней. Он вел себя как ребенок, полный горя, раскаяния, нежности. Все недоразумения исчезли, примирение было полным. Через два дня они возвратились в Лондон. Когда они завтракали в «Кафе-роял», в зал вошел маркиз Куинсберри и сел за столик поодаль.

Оскар, который уже несколько раз видел маркиза, но так близко видел впервые, поглядывал на этого странного старика с неумеренно резкими движениями, с постоянно сверкающими гневом глазами, с некрасивым, обрюзгшим и недовольным лицом. По рассказам Дугласа, Уайльд знал, что маркиз тиранил свою кроткую жену, разрушил семью, промотал огромное состояние: 30 тысяч акров земли и 20 тысяч фунтов ренты. Когда-то изысканный джентльмен и прекрасный наездник, он уже многие годы не мог успокоиться, что не получил Национальной премии, которую его жеребец Олд Джо завоевал под другим жокеем чуть ли не на другой день после того, как был продан. С тех пор маркиз был во вражде со всем миром. В спортивных кругах он пользовался славой создателя правил бокса, а в обществе более широком был известен как воинствующий атеист, особенно со времени премьеры «Майского обещания» Теннисона, когда маркиз из ложи театра «Глоб» осудил эту пьесу с позиций атеизма. В клубах, в ресторанах, на приемах сей Омэ-аристократ неустанно и бездумно заявлял о своем агностицизме, отпугивая всех нудной своей назойливостью. Пьяница, скандалист, грубиян, он унаследовал от мрачного клана Дугласов такой нрав, какого достало бы для нескольких заурядных негодяев.

Бози, поднявшись, пригласил отца за стол Уайльда. После минутного колебания маркиз согласился. Некоторое время он сидел мрачный, положив локти на стол, пил вино и молчал. Но не прошло и десяти минут, как он начал смеяться и отвечать на остроты Уайльда. Подали кофе, ликеры и сигары, внезапно речь зашла о христианстве, и тут старый агностик, подзадоренный несколькими парадоксами, разгорячился. Альфред, соскучившись, оставил обоих рассказывать анекдоты о монахах и монахинях.

— Я слышал,— вдруг сказал Куинсберри,— что Бозиоставил Оксфорд, не сдав экзамены.

— О,— воскликнул Уайльд,— экзамены — это чистейшая чепуха. Кто джентльмен, тот знает все, что ему надо. А если он не

джентльмен, все, что он знает, ему вредит.

Встав из-за стола, они вышли из зала под руку, как друзья.

В тот же вечер Альфред получил письмо, в котором отец писал:

«Собираешься ли ты теперь бездельничать? Все то время, которое ты без толку проводил в Оксфорде, меня дурачили уверениями, будто ты готовишься к дипломатической карьере, а потом — будто ты намерен изучать право. Мне, однако, кажется, что ты ничего не хочешь делать. Не надейся, что я буду оплачивать твою праздность. Ты готовишь себе нищенское будущее, и было бы жестоко и безнравственно с моей стороны **ПОМОг** гать тебе в этом. Во-вторых — тут я касаюсь самого болезненного пункта — речь пойдет о твоей близости с этим типом, с Уайльдом. Это должно прекратиться, или я от тебя отрекусь и лишу тебя средств к существованию. Не хочу анализировать эту близость и ни в чем не обвиняю, но я видел вас вдвоем — как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свои интимные отношения. В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц. Неудивительно, что о вас столько говорят. Я знаю из надежного источника — что, впрочем, может быть и неверно,— будто его жена добивается развода, обвиняя его в содомии и прочем разврате. Правда ли это? Что ты об этом знаешь? Если это подозрение имеет какие-то основания и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой встрече».

С этим письмом Дуглас приехал на Тайт-стрит. Читая, он высмеивал каждую фразу. Уайльд слушал его молча. Он испытывал страх перед неопределенной, но близкой опасностью. Успокаивая Альфреда, он говорил, что не хочет быть ставкой в игре их взаимно враждебных чувств; было бы нелепо идти на подобный риск; в конце концов у него в жизни есть дела поважнее, чем связываться с пьяницей и кретином. Бози кричал, что не позволит отцу вмешиваться, не его дело, кого он, Бози, выбирает себе в друзья. Его возбуждение было явно окрашено восторгом, что он станет предметом спора между одним из знатнейших аристократов Англии и самым знаменитым ее человеком. Это невероятно льстило его тщеславию.

— Роковые ошибки в жизни,— говорил Оскар,— совершаются не потому, что человек поступил неразумно. Минута неразумия может быть самой прекрасной минутой. Гибель приходит лишь тогда, когда ошибки становятся логичными и последовательными.

Дуглас, махнув рукой, ушел. Еще за час до этого он в ответ на письмо отправил отцу телеграмму: «Какой ты смешной

человечишко».

На другой день лорд Куинсберри появился на Тайт стрит в сопровождении своего друга, бывшего боксера.

— Полагаю,— сказал Уайльд,— что вы пришли просить у меня извинения за написанное вами письмо, где содержатся оскорбления на мой счет.

— О нет. Письмо было интимное, адресованное моему сыну.

— Как же вы смеете говорить подобные вещи обо мне и о своем сыне?

— Вас обоих выставили из отеля «Савой» за то, что вы вели себя там непозволительным образом.

— Это ложь.

— Все равно, все равно! — кричал Куинсберри, размахивая короткими, судорожно дергающимися руками.— Но я говорю вам, что, если еще раз встречу вас с Альфредом, я вас отколочу, отколочу!

— Не знаю, каков кодекс чести у Куинсберри, но мое правило — стрелять в голову каждому, кто на меня кинется.— Уайльд открыл дверь и позвал слугу.

— Это маркиз Куинсберри,— сказал он,— самый беспардонный грубиян в Лондоне. Я запрещаю тебе впускать его в мой дом. А теперь,— обратился он к непрошеным гостям, — убирайтесь отсюда!

Маркиз обошел все рестораны, где бывал Уайльд, угрожая, что устроит скандал, если застанет там своего сына в обществе Оскара. Дуглас нарочно посещал эти заведения, да еще каждый раз предупреждал отца, где будет обедать и в какое время. Куинсберри старался приходить туда через полчаса после того, как сын и Уайльд уйдут.

Неожиданное происшествие отвлекло его внимание в другом направлении. Старший его сын, виконт Драм ланриг, получил сан пэра Соединенного Королевства с титулом лорда Келхеда. Старый безбожник, который сам не был членом палаты лордов, потому что не желал приносить присягу, целый месяц засыпал королеву, Гладстона, лорда Розбери оскорбительными письмами. Он грозился, что поколотит лорда Розбери, который осуществил это пожалование. В Гомбурге видели, что он с хлыстом в руке кружил у дворца министра. Как удалось уладить это дело без скандала, осталось тайной принца Уэльского, имевшего с маркизом беседу наедине. Куинсберри вернулся в Лондон и снова принялсяходить по клубам и ресторанам. Нудный этот старик стал теперь даже занятен, с тех пор как перестал воевать с господом богом и рассказывал всякий вздор о человеке, интересовавшем всех. Наконец и это приелось — ведь маркиз не мог придумать ничего,

кроме того, что Уайльд заслуживает дубинки и что его надо посадить под замок. Подобные угрозы старика встречали весьма вялое одобрение — на большее были неспособны сонные мозги выпивох в час, когда убирают со стола.

Как-то вечером в дом на Тайт-стрит явился неизвестный, желавший поговорить с «самим мистером Уайльдом». Назвался он Алленом. Тихо прикрыв за собою дверь кабинета, он без приглашения сел у стола напротив хозяина. Место это он выбрал будто нарочно, чтобы на него не падал свет лампы. Долго нельзя было разобрать, о чем он говорит. Он глотал каждое второе слово, давился, кашлял, наконец все же стало понятно, что в его руках находятся некие письма, которым лучше бы лежать запертыми на ключ в этом солидном письменном столе, у которого он имеет честь сидеть.

— Догадываюсь, что вы говорите о моих письмах к лорду Альфреду Дугласу. Я видел копию одного из них. Дав его списать, вы совершили бестактность. Зачем вы это сделали? Я заплатил бы вам крупные деньги — это одна из прекраснейших вещей, мною написанных.

Письма уже давно ходили в списках. Бози никогда о них не заботился, оставлял их в ресторанах, в гостиницах, в клубах, целая пачка писем была у Альфреда Вуда, «приятного малого без определенного занятия», которому Дуглас отдал свою старую одежду.

Из полумрака, в котором сидел гость, блеснул взгляд злых глаз:

— Это письмо можно толковать весьма любопытным образом.

— Несомненно,— рассмеялся Уайльд.— Ведь искусство— вещь для криминалистов непонятная.

Он схватился за шею быстрым жестом, как делал всегда, когда шутил, и вдруг почувствовал, что его рука дрожит. Аллен этого не заметил, он сидел, опустив глаза.

— Кое-кто дает мне за это письмо шестьдесят фунтов.

— Возьмите их. Шестьдесят фунтов — приличная цена. Мне никогда столько не платили за такой маленький кусочек прозы. Но я поистине счастлив, что в Англии есть человек столь тонкий, что готов купить за эту цену одно мое письмо. Так что мне непонятно, зачем вы пришли ко мне. Прошу вас, продайте это письмо, не откладывая.

Уайльд встал. Провожая Аллена до дверей, он чувствовал томительную тяжесть в ногах.

— Тот господин сейчас путешествует,— пробормотал Аллен.

— О, он вернется, он наверняка вернется,— сказал Уайльд.

Аллен попятился и снова сел на стул. Теперь он начал охать и

стонать, что он, мол, очень нуждается. Уайльд дал ему полфунта.

— Письмо, о котором вы говорите, вскоре будет опубликовано в виде сонета.

Аллен ушел. За окном слышались медленные шаги полицейского, проходившего мимо дома. В ворота постучались. Уайльд поспешил сам открыть.

— Моя фамилия Клиберн, сэр. Аллен дал мне письмо.

— Я не хочу ничего об этом слышать,— вскричал Оскар,— мне нет дела до его писем.

— Аллен велел мне отдать его.

— Почему?

— Он говорит, вы были к нему очень добры и он не

хочет вас обманывать. А в общем-то, ведь вам на нас наплевать.

Письмо было измято, засалено, перепачкано.

— Неслыханно! Так обращаться с моей рукописью!

— Что делать,— вздохнул Клиберн,— оно прошло через столько рук.

Уайльд дал ему несколько шиллингов.

Возвратясь в кабинет, он сел в кресло и, прикрыв лицо руками, просидел не двигаясь долго, очень долго — он понял это, когда наконец поднялся, по тому, как одеревенели у него ноги. Подойдя к окну, он приподнял штору. На улице угасали фонари на фоне раннего июньского рассвета. Мир был пустынен, сер, бескрасочен. Стало невыносимо жить среди всей этой грязи и этих подонков. Уайльд сбежал из Лондона, укрылся — насколько то было для него возможно — в прелестном Уортинге, расположенном у пенистых вод Канала. Он работал над новой комедией «The importance of being Earnest»[20] стараясь обрести вновь свободу и живость ума, которая, казалось, его покинула в последние месяцы. Все громче говорил в нем долго подавляемый бездельем инстинкт писателя. Ревнивое отношение к своему времени, жажда тишины и одиночества, мучительные усилия поддерживать непрерывную работу мысли делали для него ненавистным все, что могло опять ввергнуть его в столичную суету, и на ряд недель заточили его в уединенном домике, столь близко стоявшем у моря, что рокот волн заглушал все городские шумы.

Дуглас не показывался, не писал. Его молчание, однако, больше занимало мысли Оскара, чем самые многословные письма. Однажды, когда оно тревожило его особенно неотступно, с почты принесли довольно тяжелый, больше обычных размеров конверт. В конверте находилась длинная поэма Альфреда, старательно написанная на больших квадратных листках

веленевой бумаги. Не успел Оскар дочитать до середины, как наступили сумерки,— так неожиданно, словно все вокруг заволокло серостью этих длинных виршей.

«Не могу тебе выразить, как я тронут,— писал Оскар вечером. — Поэма пронизана тем легким, изящным лиризмом, который тебе присущ. Это кажется нетрудным тем людям, которые не понимают, какое нешуточное дело заставить поэзию легко плясать среди цветов, да так, чтобы ее белые ноги их не смяли. Для тех же, «кто понимает», такая способность имеет очарование чего-то редкостного и утонченного... Моя пьеса и вправду забавна. Я совершенно ею захвачен, но еще не оформил в целом... Dear, dear boy, ты для меня значишь больше, чем кто-либо может себе представить. Ты — воплощение всего мне приятного. Когда мы не в ладах, мир теряет краски, но в действительности ведь редко случается, чтобы мы не ладили. Думаю о тебе днем и ночью. Ответь мне сразу, о ты, «дитя с медовыми волосами».

Письмо было на двенадцати страницах.

Вместо ответа Дуглас приехал. Да еще привез с собою товарища, которого Уайльд не пустил в дом. Бози поселился в гостинице, а через несколько дней снова явился, уже один, и стал жаловаться на скуку и безлюдье Уортинга. Вдвоем они выехали в Брайтон. Был уже вечер, когда они прибыли в «Гранд-отель». Дуглас почувствовал, что болен, и лег. Ночью у него открылся жар. Доктор установил тяжелую инфлюэнцу. В течение пяти дней Уайльд был при больном. Только по утрам выходил на часовую прогулку да после полудня выезжал в экипаже — и то через четверть часа возвращался, чтобы не оставлять Альфреда одного в то время, когда его состояние обычно ухудшалось. Уайльд приносил ему цветы, фрукты, книги, маленькие подарки, которые могли его развлечь или доставить удовольствие. Распорядился доставить из Лондона корзину винограда, потому что виноград, который подавали в отеле, был, по мнению лорда, «несъедобный». На ночь дверь в соседнюю комнату, где спал Уайльд, оставалась открытой — он прислушивался и был готов прибежать по первому зову.

Как только Дуглас выздоровел, Уайльд снял отдельную квартиру, чтобы снова сесть за работу. Бози велел перенести туда свои чемоданы. Рукопись начатой комедии валялась на письменном столе среди воротничков и перчаток Дугласа. Через несколько дней заболел инфлюэнцей Оскар. Спальня находилась на третьем этаже, больной по целым дням был без присмотра. Дуглас забегал на несколько минут, чтобы захватить денег, и исчезал, не исполняя ни единой просьбы Оскара. В какой-то день он и вовсе не явился, хотя обещал, что вечером, после обеда,

посидит с больным. Уайльд ночью не мог заснуть от жара и жажды. Около третьего часа, в темноте, дрожа от холода, он спустился вниз — поискать воды в своем кабинете. Дуглас был там — раздевался. Он был пьян, стал кричать, что ему не дают спать, что его заставляют ухаживать за больными, что он не может себе позволить ни малейшего развлечения, чтобы тут же не услышать упреков и жалоб. Было столько злобы, пошлости, ничтожности в его словах и всем его виде, что Уайльд, не в силах подавить отвращение, ушел. Уже рассвело, когда слуга принес ему стакан воды.

В одиннадцать часов пришел Дуглас. Сел в кресло напротив кровати и начал сперва тихим голосом, потом все громче и наконец дойдя до крика повторять ночную сцену. На столе лежал наполовину исписанный листок. Дуглас взял его.

— Я не одобряю сочувствия к больным,— читал он.— Считаю его болезненным. Болезнь не принадлежит к тем занятиям, которые надо поощрять. Здоровье — главная обязанность в жизни.

Это были слова леди Брэкнелл из начатой комедии. Прочитав их, Дуглас бросил листок на стол и разразился громким хохотом. Оскар не двигался — спрятав голову в подушки, он почти шепотом приказал Дугласу уйти. Он слышал, как Альфред встал. Невольно открыв глаза, он увидел, что тот стоит на середине комнаты. Лицо Альфреда было красное, страшное, он хохотал, выл и, наклонясь вперед, медленно приближался к кровати.

Больного охватил неодолимый испуг. Быстро сбросив одеяло, он босиком, в одном белье, сбежал вниз, на первый этаж.

«Ты хвалил меня за предусмотрительность, согнавшую меня с кровати,— вспоминал Уайльд впоследствии в своем письме из тюрьмы.— Ты говорил, что этот момент был для меня опасным, более опасным, чем я воображал. О, я слишком хорошо это чувствовал. Что сие означало в действительности, я не знаю: то ли при тебе был револьвер, который ты купил, чтобы пугать отца, и из которого однажды выстрелил при мне в ресторане, не зная, что он заряжен; то ли ты тянулся к ножу, который случайно'лежал на столе, стоявшем между нами; то ли, забыв в азарте о том, что ты ниже меня ростом и слабее, ты хотел броситься на лежащего в постели больного человека — не могу сказать. И доныне я этого не знаю. Знаю одно — меня охватило чувство крайнего страха и я понял, что, если тотчас не уйду из комнаты, ты совершишь или попытаешься совершить нечто такое, что было бы даже для тебя источником позора на всю твою жизнь».

Оказавшись в своем кабинете, Уайльд позвонил. Пришел сам хозяин дома. Уайльд попросил его подняться наверх и

посмотреть, находится ли Дуглас в спальне. Хозяин вернулся с вестью, что там никого нет. Он помог Уайльду взойти наверх, уложил в постель, послал за доктором и обещал, что будет поблизости, на случай если позовут. Доктор нашел, что состояние больного намного ухудшилось, жар усилился. Он предписал полный покой и, уходя, опустил шторы на окнах. Вдруг Оскару показалось, что он снова слышит шаги доктора, словно тот опять подымается по лестнице. В открывшихся дверях появился кто-то. Оскар почти сразу узнал в полутьме Дугласа. Тот шел на цыпочках. Пошарил руками по столу, потом по карнизу камина, собрал и сунул в карман все деньги, которые там нашел. Час спустя, уложив свои вещи, Дуглас уехал из Брайтона.

В одиночестве, без всякого ухода, борясь два дня с болезнью, Уайльд, однако, испытывал огромное облегчение. Тень Альфреда, кружащего по комнате в поисках денег, казалось, навсегда заслонила всю их прежнюю жизнь. «Было бы позором поддерживать даже обычное знакомство с человеком такого сорта». Видя, что пришла наконец решительная минута, Уайльд был охвачен глубокой радостью. Сознание неизбежности разрыва наполнило его спокойствием, жар спал, и через два дня онсошел вниз обедать с глубоким, целительным чувством свободы. То был день его рождения. В кабинете он нашел много телеграмм, писем и на одном конверте узнал почерк Дугласа. Вскрывая письмо, Оскар не мог превозмочь грусти при мысли, что прошло то время, когда одной ласковой фразы, одного нежного обращения или слова раскаяния было довольно для примирения.

Но то не было покаянное письмо. В нем содержалось тщательное повторение тех же оскорблений, ругательств, сарказмов, которые Дуглас выкрикивал два дня назад. «Когда ты не на своем пьедестале, ты вовсе не интересен. В следующий раз, если захвораешь, я тотчас уед у » — таковы были последние слова после обычной подписи: «Бози». Уайльд сжег письмо в камине, как вещь, прикосновение к которой или даже взгляд может замарать. Он известил хозяина, что уедет через три дня, в пятницу. В пятницу он мог застать в Лондоне поверенного маркиза Куинсберри и сделать заявление, что больше никогда, ни под каким предлогом не позволит лорду Дугласу войти под его кров, сесть за его стол, появиться где бы то ни было в его обществе. Копию заявления он собирался послать Альфреду. В четверг вечером черновик документа был готов. Утром в пятницу, перед отъездом, он, кончая завтракать, заглянул в лежавшую перед ним газету. На первой странице была телеграмма с известиехМ о смерти старшего брата Дугласа. Виконт Драмланриг был найден мертвым в канаве, рядом лежало

разряженное охотничье ружье. Через несколько дней должна была состояться его свадьба. То, что было, как выяснилось позже, несчастным случаем, в первую минуту сочли трагическим самоубийством.

В эту брешь образ Дугласа снова свободно вошел в душу Уайльда и целиком ею завладел. Уайльд послал телеграмму, потом письмо, призывая приехать, как только сможет. Альфред приехал в глубоком трауре, плакал, ища поддержки и утешения, как ребенок. Искренняя печаль делала его более близким, более родным, чем когда-либо. При его отъезде Уайльд дал ему цветы — положить на могилу брата,— цветы как «символ не только красоты его жизни, но и той красоты, которая дремлет во всех живущих и может пробудиться для света».

Брайтонские воспоминания быстро утратили остроту, как и все прочие того же рода, и, заслоненные согласием последующих дней, рассеялись, будто кошмар минувшего бреда, о котором здоровое тело уже не помнит.

Они даже приобрели комический оттенок и десятками намеков вошли в комедию о том, «как важно быть серьезным». Леди Брэкнелл получила свою фамилию по названию поместья матери Альфреда, Джек потерялся и нашелся где-то между Уортингом и Брайтоном, а минута притворного траура по несуществующему Эрнесту напоминала обоим друзьям тот день, когда Бози появился в цилиндре, повязанном широкой креповой лентой. Лучшая комедия Уайльда была созданием его вконец опустошенного сердца.

Он очень изменился — потучнел и при высоком своем росте казался огромным. Мускулистые руки стали толстыми, пухлыми. Лицо приобрело багровый цвет, а мясистые, разбухшие губы и несколько подбородков делали его более, чем когда-либо, схожим с бюстами Нерона или Вителлия. Во всей фигуре Уайльда, в тяжелых, сонных движениях чувствовалась пресыщенность. Глаза утратили живой блеск, взгляд стал жестким. Появляясь в обществе, он не слушал фамилий людей, которых ему представляли, шел, как бы оттесняя всех на своем пути, требовал, чтобы среди бела дня опускали шторы, чтобы меняли цветы или сервиз на столе, если их окраска или узор его раздражали. Он мог внезапно встать и, подойдя к сидевшей напротив даме, сказать:

— Сударыня, видели вы когда-нибудь вампира? У вас такие глаза, будто они уже видели вампира.

Или, взяв кого-нибудь под руку, тащил к окну и, обдавая горячим дыханием, шептал:

— А вы знаете, почему Иисус не любил свою мать?.. Скажу вам по большому секрету: потому что она была девственница!

И разражался хриплым, жестким смехом. Он утратил прежнюю непринужденную веселость, говорил усталым голосом, не рассказывал историй.

В первые дни января, после премьеры «Идеального мужа», он уехал в Алжир. В Блидахе с ним встречался Андре Жид.

— Видите,— сказал Уайльд,— я сбежал от искусства. Отныне хочу чтить только солнце.

Жизнь он чтил с большим, чем когда-либо, благоговением. На наслаждение смотрел, как на долг.

— Наслаждение — вот что нужно. Не будем говорить о счастье. Главное, не будем говорить о счастье. Мой долг — развлекаться, развлекаться изо всех сил.

На улице его всегда сопровождала стайка сорванцов с золотистыми от солнца телами. Он пригоршнями бросал им монеты. Но вдруг, среди крика и смеха, он застывал, побледнев и дрожа, словно увидел привидение. Поговаривал о возвращении в Лондон, и из некоторых его намеков можно было понять, что образ маркиза Куинсберри витает перед его тревожным взглядом.

— Но что вас там ждет, если вы вернетесь? — спрашивал Жид.— Знаете ли вы, на какой риск идете?

— Этого никогда не надо знать. Странные люди мои друзья: советуют мне быть благоразумным. Благоразумие! Может ли оно быть у меня? Это было бы отступлением. А мне надо идти как можно дальше. Я не могу уже идти дальше. Должно что-то случиться, что-то другое...

В конце января он сел на пароход. Он всегда плыл под такими сияющими парусами, что никто и не догадывался о том, что кормилом его судна правит черная рука рока.

VI

В первые дни февраля 1895 года лорд Куинсберри, проходя утром по Кинг-стрит, увидел у входа в театр Сент-Джеймс свежую афишу, извещавшую о новой комедии Оскара Уайльда, премьера которой была назначена через неделю. Он дождался открытия кассы и купил билет в ложу первого яруса, над самой сценой. Вечером в клубе маркиз был весел и возбужден, пригласил на ужин нескольких друзей, напился, и из его слов стало понятно, что он намерен учинить скандал во время спектакля. На следующий день об этом уже знал директор театра Джордж Александер — он распорядился отослать лорду деньги за билет и уведомил полицию. За час перед началом представления у всех входов стояли агенты полиции. Маркиз привез с собою большущий пук моркови и брюквы и собирался объяснить смысл этого, произнеся речь из ложи. Но его не пустили в зал. Он долго буянил в коридорах, пробивался к дверям зала, угрожал, наконец удалился, оставив свой букет в канцелярии театра с требованием вручить автору, когда тот появится на сцене.

Сильнейшая метель не могла отпугнуть толпы зрителей, приехавших в каретах, викториях и в обычных дрожках. У многих прелестных дам были в руках букеты лилий, лилии украшали также бутоньерки молодых людей, чьи эбеновые тросточки с набалдашниками слоновой кости и белые перчатки с черной строчкой привлекали всеобщее внимание.

Три акта «Как важно быть серьезным» закончились неслыханными овациями. Публика встала с мест и без конца хлопала. После представления на Пэлл-Мэлл зрители, выходившие из театра Сент-Джеймс, встретились с теми, кто возвращался из театра Хеймаркет, где с начала сезона беспрерывно шел «Идеальный муж»,— восторженная толпа не позволяла двигаться экипажу, в котором ехал Оскар. Газеты по-прежнему нападали на «отравляющий, безнравственный диалог», но делали это гораздо осторожнее, а некоторые рецензенты употребляли совершенно иные эпитеты.

В общем, все уже устали от собственной чопорности и восхищались тем, с какой бесцеремонностью дерзкий ирландец нарушает старомодную благопристойность.

Маркиз, изгнанный из театра и преследуемый славою человека, в ненависти к которому он поклялся, жил теперь в фантастическом мире подозрений и вымыслов. Во всех своих житейских неудачах он винил Оскара — вплоть до истории с Олд Джо; бегство обеих жен, которые были у него после развода с

леди Куинсберри, он объяснял извращенными понятиями, которые внушают развратные книги «этого проклятого ирландца»; даже надвигающееся разорение приписывал некоему таинственному влиянию Уайльда и готов был присягнуть, что Уайльд погубил его жизнь. Казалось весьма правдоподобным, что он сойдет с ума, если не избавится от этих навязчивых идей. Ему было бы намного легче, будь у него с кем поделиться. Но теперь он ни у кого не встречал сочувствия, слушатели только пожимали плечами — весь мир был в сговоре против него. Наконец как-то вечером он пришел в Альбермарл-клуб и спросил Уайльда, а когда ответили, что того нет, оставил свою визитную карточку, написав на ней карандашом: «To Oscar Wilde posing as a somdomite»[21]. В последнем слове маркиз написал лишнее «м». От этого лишнего «м» маркиз впоследствии ни за что не хотел отказаться, упорно отстаивал его на всех судебных заседаниях, чтобы не подумали, будто он писал в состоянии возбуждения.

Служитель прочитал записку и, ничего не поняв, вложил в конверт. Оскар получил ее из рук швейцара вместе с другими письмами лишь десять дней спустя.

Дугласа в Лондоне не было. Расставшись с Оскаром в Бискре, он отправился в оазис Блидах, куда его привлекала молва о необычной красоте шестнадцатилетнего Али. Юный кауаджи[22] был согласен ехать с ним, но сперва следовало уладить дело с родителями, договориться с арабской канцелярией и успокоить комиссариат. Али действительно был хорош собой. Чистый лоб, казалось, светился на его матово-бледном лице, рот был маленький, глаза темные, выразительные. В роскошном халате, опоясанный шелковым шарфом, в златотканом тюрбане он походил на восточного принца — столько ярости было в его раздувающихся ноздрях, столько равнодушия в изящных дугах бровей, столько жестокости в презрительной складке рта,— рядом с ним лорд Альфред Дуглас смахивал на лакея. По легкой, безмолвной усмешке Али гостиничная прислуга прибегала быстрее, чем на самый громкий зов других постояльцев. Повсюду он шел первым, и было видно, что прихоти Альфреда вращаются по эклиптике его воли.

Они остановились в Сетифе, среди Малых Атласских гор. Каждый день заказывали экипаж для поездок в Хетма-Дрох, Сиди-Окба — зеленые оазисы среди желтых песков пустыни. Али не знал ни французского, ни английского. Дуглас нанял толмача, и, когда они втроем сидели за столом и пили чай, без конца повторялось:

— Атман, скажи Али, что его глаза похожи на глаза газели.

Прошло несколько дней, и Бози с недоумением стал

замечать, что Али в какие-то часы исчезает. У него возникли подозрения, он начал добиваться признания, раскаяния, клятв, грозил, что отошлет Али обратно в Блидах. Под конец Бози обыскал чемодан Али и в самом низу, под бельем, нашел фотографию хорошенькой Мариам. Войдя, Али увидел в комнате беспорядок, на полу белые клочки разорванной фотографии, и, когда нагнулся, чтобы их подобрать, спину его, будто кипятком, обжег удар хлыста. Араб выл всю ночь, а рано поутру, первым поездом, его отвезли в Блидах. Бози за завтраком имел страшный вид — прислуга старалась держаться подальше от мрачного взгляда его обведенных синяками глаз. Только старик метрдотель осмелился подойти и положить на салфетку конверт с английской маркой, это было письмо Оскара о происшествии в клубе. Лицо Бози вмиг обрело обычную свежесть, взгляд прояснился, он опять стал милым юношей, словно сотканным из льна, роз и золота... Было заказано шампанское и отдано распоряжение готовить вещи к отъезду.

Поезд прибыл в Лондон поздно вечером, но Бози прямо с вокзала поехал на Тайт-стрит. Оскар был дома, он теперь редко выходил по вечерам. Бози прочитал записку маркиза.

— Ну, может быть, теперь ты уже не будешь колебаться?

Уайльд кивнул утвердительно.

— Разумеется. Надо уехать. На полгода — этого будет достаточно. А впрочем, может быть, и на год. Год в Париже. Как это будет чудесно. За год напишу две, три, четыре комедии, и будем жить, как нам заблагорассудится!

Уайльд потянулся, как бы преодолевая сильную усталость, и откинулся на спинку кресла, готовый рассмеяться, но тут он увидел лицо Альфреда. Оно было так страшно искажено, что Оскар застыл с поднятыми вверх руками.

— О чем ты говоришь?

Бози подошел к креслу, схватил Оскара за плечи и стал его трясти.

— О чем ты говоришь? Хочешь бежать, трус? Хочешь стать всеобщим посмешищем?

Уайльд высвободился из его рук. Теперь их разделяли высокое кресло и письменный стол, большой, тяжелый стол Карлейля. На столе лежала визитная карточка лорда Куинсберри, где над ровной полоской отпечатанной фамилии извивались несколько написанных карандашом слов, кривые, истерзанные буквы, напоминавшие странную, чахлую растительность.

На следующий день состоялось совещание с адвокатами. Кроме сэра Эдуарда Кларка присутствовал его юниор[23], м-р Трэверс Хамфрис и солиситор[24], м-р К-О. Хамфрис. Оскар вынул

из бумажника визитную карточку маркиза и положил ее на стол — это было единственное движение, какое он сделал за целый час. Всю следующую неделю Бози возил его регулярно каждый день в ту же пору на Уигмор-стрит. Они усаживались в мрачном кабинете «солиситора», лысый стряпчий, подперев подбородок скрещенными пальцами рук, слушал невоз мутимое вранье Дугласа. Уайльд не произносил ни слова. Лишь однажды несколько фраз адвоката пробудили его внимание. Они касались судебных расходов. По осторожности тона можно было понять, что дело идет о крупных суммах.

— Боюсь, мистер Хамфрис, мне этих расходов не одолеть,— сказал Уайльд.

Бози дернулся в кресле так резко, будто хотел вскочить. Оскар потупил голову, чтобы не встретиться с его взглядом. Но тут же поднял глаза, услышав на удивление мягкий голос Бози:

— Успокойся, Оскар, платить будешь не ты.

Мистер Хамфрис был также удивлен. Лорд Дуглас удовлетворил любопытство стряпчего, сказав, что его семья с радостью покроет все расходы. Маркиз — это демон, инкуб, сгубивший жизнь и счастье ангела, леди Куинсберри. Семья не раз обсуждала, как бы засадить маркиза в дом умалишенных. Каждую выплату причитающейся леди Куинсберри ренты приходится добиваться через суд. Теперь наконец представилась возможность избавиться от маркиза хотя бы на время.

Бози встал и склонился над Оскаром.

— Ты не знаешь, у нас дома все теперь говорят о тебе, как об избавителе. Ты не потратишь ни гроша. Перси вчера сказал матери, что оплатить этот процесс составит для него величайшее удовольствие.

— У вас есть экипаж, лорд Альфред?— спросил «солиситор».

— Да, ждет на улице.

Мистер Хамфрис вынул из папки приготовленную жалобу. Развернул лист, чтобы проверить, лежит ли там карточка маркиза, и, приведя в порядок бумаги, взглянул на своих клиентов. Бози взял Оскара под руку. Они успели в судебную канцелярию перед ее закрытием; собравшийся уходить чиновник довольно резко поторопил Уайльда, чтобы поскорее подписал документ.

Оскар домой не вернулся. Он позволил увезти себя в «Эйвондейл-отель», где были сняты три комнаты, так как Альфред по дороге встретил одного из своих юных друзей. Вид этого молодого человека и его поведение в экипаже были таковы, что Уайльд, подняв воротник пальто и надвинув шляпу на глаза, спрятал лицо— не хотел, чтобы его видели прохожие. Вечером он

перевез в отель некоторые свои вещи: два чемодана и коробку со шляпами. Застав Альфреда за ужином, он, сказавшись усталым, ушел к себе и лег. Еще долго он слы шал, как откупоривались все новые бутылки шампанского.

Теперь Уайльд стал чаще появляться в обществе и был так весел, так оживлен, словно ни одна забота не тревожила его. В течение дня он старался побывать во многих местах — в парках, клубах, театрах, ресторанах, и больше, чем когда-либо, производил впечатление человека счастливого и богатого. Ночевать ехал в отель— друзья на это только снисходительно пожимали плечами. Он шутил, что не помнит точно номера своего дома и даже не уверен, помнит ли улицу,— знает только, что живет где-то в Челси. И впрямь было бы еще более странно, если бы он завершал свой необычный день на супружеском ложе. Впрочем, никто особенно не старался объяснять его образ жизни: иные даже с определенной радостью думали, что вот нашелся наконец человек, который может себе все позволить.

Не так думал Фрэнк Харрис. Он был из числа близких друзей Оскара. Несколько лет назад они встретились на каком-то обеде. Харрис рассказывал о боксере, сражавшемся одновременно с несколькими противниками, и в его голосе, в жестах, в живости изображения было столько артистизма, что Оскар, очарованный, обнял его и стал звать по имени. Известную роль тут сыграло и авантюрное прошлое Харриса. Шестнадцатилетний Фрэнк сбежал из дому, из почтенной семьи шкипера Merchant Service[25], и переплыл океан, расплатившись за поездку полученными им тумаками, которых ему не пожалели, когда его, уже в открытом море, обнаружили в камбузе, под кучей кухонных отбросов. Высадившись в Америке, он за несколько лет переменил все профессии, которые можно уместить между профессиями ковбоя и журналиста, пока наконец не встретил миллионера и тот, узнав о его жажде знаний, помог Фрэнку поступить в университет. Там он, видимо, чему-то учился и сдал какие-то трудные экзамены, так как потом был преподавателем в брайтонской Грэммерскул. Но, вспоминая о тех годах, он хвалил их только за греческий и при случае читал наизусть длинный отрывок из «Одиссеи», всегда один и тот же. Женился он на состоятельной вдове, владелице дома на Парк-Лейн, но через несколько лет ему пришлось с богатством распроститься, так как терпеть его образ жизни не смогла бы и самая снисходительная жена. В Лондоне он был директором и совладельцем газет «Фортнайтли ревю», «Сэтердей ревю», «Вэнити Фэр», которые одну за другой оставлял, нигде не умея долго сдерживать свой воинственный нрав.

Дружба с Уайльдом весьма льстила Харрису, он старался

поддерживать ее всеми способами, огромные гонорары, которые он платил Уайльду в своих издательствах, немало способствовали их сближению. То, что вначале, возможно, делалось для удовлетворения тщеславия,— Харрис давал обеды, украшением коих был Оскар,— со временем перешло в преданность, разумеется, в той мере, на какую был способен этот делец и авантюрист. Он знал об Оскаре меньше, чем другие, долгое время считал все недостойной сплетней, готов был присягнуть, что Уайльд ни в чем не повинен, но он первый и единственный предсказал катастрофу. Бернард Шоу, присутствовавший при их разговоре с Уайльдом, впоследствии не раз повторял:

— Если когда-либо на земле изрекали пророчества, которые сбывались, то это случилось в тот понедельник, между двумя и тремя часами дня, в «Кафе-роял».

В субботу Уайльд пришел просить Харриса засвидетельствовать перед судом, что «Дориан Грей» — не безнравственное произведение.

— Хорошо,— сказал Харрис,— я скажу это и еще то, что ты — один из тех редких людей, которые в своих словах и в своих произведениях совершенно свободны от всякой заурядности.

— Благодарю, Фрэнк, благодарю. Теперь я знаю, что выиграю процесс.

— Не думай об этом. Я сделаю все, что в моих силах, но умоляю тебя, Оскар, брось это. Английский суд из всех судов на свете наименее пригоден для решения вопросов искусства и морали.

Уайльд понуро ответил:

— Ничего не поделаешь, Фрэнк, я уже не могу ничего изменить.

— Стало быть, ты хочешь совершить самоубийство? На том они расстались. В воскресенье Харрис старал

ся узнать, что говорят в городе о деле Уайльда. Из умолчаний он понял больше, чем из слов, и у него было достаточно опыта, чтобы .прийти к убеждению — ни один английский суд не станет на сторону писателя против лорда.

— И прибавь к этому,— говорил он Уайльду в понедельник,— что твой лорд играет роль страдающего и за ботливого отца. Я уверен, что ты процесс проиграешь. Брось это, уезжай. С дороги напишешь в «Таймс» блестящее письмо, как ты это можешь, высмеешь маркиза, суды, адвокатов, скажешь что захочешь,— все будет лучше, чем то, что ты мог бы сказать в зале суда.

Шоу одобрительно кивал. Уайльд молчал. Харрис дал время этому молчанию созреть — по утомленному лицу, по неподвижным пальцам, в которых погасла папироса, видно было,

что Оскар, отбросив обычную свою маску, почувствовал всю весомость предостережения. Минуту он сидел с закрытыми глазами, но, когда снова их открыл, во взгляде его выражалось какое-то детское доверие.

Внезапно появился Дуглас. Харрис стал повторять то, что говорил раньше. Но едва он сказал несколько фраз, Дуглас вскочил — он был бледен, лицо судорожно исказилось, пронзительный голос напоминал визгливое бешенство маркиза:

— По этому совету видно, что вы Оскару не друг!

И выбежал из зала. Уайльд тотчас поднялся.

— Это не совет друга, Фрэнк.

Произнес он это неуверенным тоном, но, отойдя на несколько шагов и взявшись за дверную ручку, еще обернулся. И то был опять гордый, дерзкий Оскар, с презрительным взглядом полуприкрытых глаз.

— Нет, Фрэнк, друг так не скажет.

Признавать свои ошибки так тяжело, так больно, что всякий предпочитает их скрыть, свалить на кого-то другого, обвинить жестокие, неустранимые обстоятельства. Уайльд даже тогда, когда решился на мучительно горькое осуждение своих ошибок, когда в своем послании из тюрьмы делал это почти с беспредельной искренностью, умолчал о том приступе ослепления и скрыл его самой неубедительной ложью. «Я мог бы быть счастлив и свободен во Франции,— писал он в «De Prófundis»,— вдали от тебя и твоего отца, не думая о его отвратительной записке и не внимая твоим письмам, если б только мог покинуть «Эйвондейл-отель». Но мне не разрешили оттуда уехать. Ты жил там со мною десять дней и даже, к моему великому — и ты должен признать, справедливому — возмущению, ты еще взял туда одного из своих друзей. Счет за десять дней составил 140 фунтов. Хозяин отеля заявил, что не разрешит мне взять мои вещи, пока я не оплачу все. Вот что задержало меня в Лондоне. Не будь этого гостиничного счета, я выехал бы в Париж утром того же дня».

В кассах театров Хеймаркет и Сент-Джеймс нашлось достаточно денег, чтобы Уайльд мог оплатить счет, округлившийся под конец в 200 фунтов. Бози тем усерднее грабил кошелек Оскара, чем больше возрастало его нетерпение. Когда наконец был отдан приказ об аресте маркиза Куинсберри, Бози вздохнул с облегчением, испытывая нечто вроде мужской гордости, этакий пьянящий избыток сил и счастья. В Лондоне ему стало тесно. Он потребовал, чтобы Оскар повез его в Монте-Карло. Там он играл день и ночь, приходил к открытию казино и уходил последним. Оскар сидел в одиночестве на террасе или в

парке, бродил по берегу моря, чертил фигуры на песке, платил по счетам, молчал. В иные минуты ему хотелось быть одним из деревьев на берегу, чтобы врасти корнями в свободную, веселую французскую землю.

Возвратился он за несколько дней до суда. Маркиз был на свободе, его выпустили под залог, и он, не считаясь с расходами, готовил «доказательство истины». Некий Чарлз Брукфилд, актер и владелец ночного кабаре, а впоследствии театральный цензор, по собственному желанию, бескорыстно разыскивал свидетелей в вертепах Пиккадилли. Этого добровольца следственных органов вдохновляла годами скрываемая ненависть к Оскару Уайльду.

Под влиянием Альфреда и адвокатов Оскар проникся уверенностью в себе и ждал суда с любопытством, с каким ожидают занятного, необычного приключения. Накануне суда он с женою и Альфредом был на представлении своей пьесы, потом они ужинали у Уиллиса. У Констанции весь вечер стояли в глазах слезы.

Процесс начался 3 апреля в главном уголовном суде. Привратник у входа в зал брал по пять шиллингов за самое плохое место. Первые ряды он приберегал для тех, кто опаздывает, для джентльменов, что платят золотом. Уайльд приехал в дорогой карете, со слугами в ливреях. С ним были Альфред Дуглас и старший брат Альфреда, лорд Перси Дуглас оф Хоик. Альфреду не разрешили войти в зал. Известнейшие адвокаты заняли места на скамьях: адвокаты Уайльда — сэр Эдуард Кларк, м-р Чарлз Матьюс и м-р Трэверс Хамфрис; маркиза представлял королевский советник м-р Карсон, а также м-р Г.-К. Гилл и м-р А. Гилл. Адвокаты Бесли и Монктон следили за судебными дебатами по пору чению братьев Дугласов. Присяжные шепотом обменивались мнениями. Публика в задних рядах заключала пари — кто выиграет. Распорядителю пришлось дважды призывать к тишине, и вот наконец все встали — вошел судья, м-р Коллинз.

Сэр Эдуард Кларк сухо и монотонно изложил обвинение. Он говорил об оставленной в клубе залиске, о ее оскорбительном содержании, напоминал о славе отца Оскара, о собственной известности Уайльда. Когда он кончил, судья вызвал Уайльда. Зал загудел, когда за барьером для свидетелей появился Оскар, серьезный и спокойный.

— Сколько вам лет?

— Тридцать девять.

Судья заглянул в бумаги.

— Вы родились в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году, следовательно, вам уже исполнилось сорок.

Оскар вздохнул. Покончив с формальностями, м-р Коллинз предоставил слово адвокату. В ответ на вопросы адвоката Уайльд говорил о своих успехах в колледже и в университете, о своей литературной работе, потом об угрозах и оскорблениях маркиза, о шантаже, связанном с письмами.

— Все утверждения лорда Куинсберри — недостойная ложь.

После этих его слов поднялся м-р Карсон. Объясняя побуждения своего клиента, он назвал их заботой отца о добром имени сына, который под влиянием Уайльда сошел со стези труда и долга.

— Вы, конечно, согласитесь,— обратился он к свидетелю,— что нельзя жить, думая только об удовольствиях?

— Удовольствие — единственное, для чего я живу, а праздность — мать совершенства.

По залу прокатился смех. Этот внезапный, короткий взрыв веселья ударил Уайльда в спину, как лапа хищного зверя. Минуту он задержал дыхание, будто и впрямь боялся, что ощутит прикосновение когтей. Но опять воцарилась полная тишина — все боялись упустить хоть слово. Карсон между тем молча перекладывал бумаги. Наконец он спросил, состоял ли м-р Уайльд сотрудником журнала «Хамелеон». То был студенческий журнальчик, основанный прежними товарищами Дугласа. Оскар дал им страничку парадоксов, которые были напечатаны в начале номера. В том же номере опубликовали анонимную новеллу «Священник и служка».

— Вы являетесь ее автором?

— Нет.

— Считаете ли вы ее безнравственной?

— Хуже того, она плохо написана.

И, помолчав, прибавил:

— Она отталкивающа и нелепа. Впрочем, я не обязан заниматься писаниной безграмотных студентов.

— Полагает ли мистер Уайльд, что его собственные произведения способствовали повышению нравственности?

— Я стремился создавать только произведения искусства.

— Надо ли это понимать так, что вы не заботились об их нравственном влиянии?

— Я всегда выражал убеждение, что книга не может влиять на нравственность людей.

Адвокат опять умолк, слегка повернув лицо к публике, будто желая угадать, что означает ее ропот. Когда зал затих, он начал читать парадоксы Уайльда. Всякий раз, когда там встречались прославления молодости и насмешки над стариками, он после каждой такой фразы делал паузу и поглядывал на скамью

присяжных. Там слушали его совершенно равнодушно.

— Полагает ли мистер Уайльд, что подобные слова могли иметь вредное влияние?

— Безусловно нет. Когда я что-либо пишу, передо мною стоит только художественная цель. Вдохновение не содержит в себе ни нравственной, ни безнравственной идеи. Я не хочу творить ни зло, ни добро, а только нечто, обладающее формами для выражения красоты, чувства, остроумия.

В руках Карсона появился белый томик «Дориана Грея». Несколько минут он перелистывал страницы так внимательно, будто и в самом деле погрузился в чтение. Даже его вопрос:

— А нельзя ли эту книгу толковать определенным образом? — произнесенный вполголоса, не относился, казалось, ни к кому из присутствующих.

Уайльд, однако, возразил:

— Я полагаю, это могут делать люди заурядные, ничего не смыслящие в литературе. Взгляды филистеров на искусство невероятно глупы.

Адвокат с минуту задумчиво смотрел на него.

— По вашему мнению, все люди — филистеры и невежды?

Я встречал феноменальные исключения.

— Полагает ли мистер Уайльд, что общество благодаря его взглядам поднялось на более высокий уровень?

— Боюсь, что у него для этого нет достаточных способностей.

— Старались ли вы помешать тому, чтобы заурядные люди читали ваши книги?

— Я никогда не отговаривал, но и не уговаривал кого-либо подняться над своей заурядностью.

Карсон опять раскрыл «Дориана Грея» и выждал, пока улегся шум веселья в зале.

— В вашей книге есть такая фраза,— сказал он наконец.— «Признаюсь, я безумно обожал тебя». Знакомо ли мистеру Уайльду подобное чувство?

— Нет. Я никогда никого не обожал, кроме себя самого. Впрочем, должен признаться, что это выражение взято у Шекспира.

— Читаю дальше: «Я хотел бы вполне обладать тобою».

— Это действительно звучит как голос пылкой страсти.

— Люди, не разделяющие ваших взглядов, могут понять эту фразу по-иному.

— Несомненно. С огорчением должен сказать, что люди не способны понять глубокого чувства, которое художник может питать к другу, одаренному необычно привлекательной индивидуальностью. Но я просил бы не допрашивать меня на

предмет чьего-то невежества.

Вопросы и ответы следовали один за другим так быстро, что в дальних рядах всякий раз возникал тот приглушенный шум, которым толпа как бы хочет втиснуться между говорящими. На них это действовало, разумеется, по-разному: Уайльд все больше повышал голос, Карсон же стал обращаться к нему громким шепотом. Уайльд совершенно подавлял его своей улыбкой и непринужденностью. Но вот адвокат вынудил его помолчать подольше.

Достав из папки лист бумаги, Карсон прочитал письмо, в котором Уайльд, выражая благодарность за сонет, превозносит красоту Дугласа, называя его новым воплощением Гиацинта. Голос Карсона был рассчитан лишь на расстояние, отделявшее его от скамьи присяжных.

— Полагает ли мистер Уайльд, что это — обычное письмо?

— Нет. Это письмо прекрасно. Его следовало бы назвать стихотворением в прозе.

— Стало быть, это письмо необычное?

— О да, оно единственное.

— Ваши письма всегда были в таком стиле?

— Нет. Это было бы невозможно. Такие вещи не всегда удается написать.

— Не припоминаете ли вы других писем того же рода?

— Мои письма не принадлежат ни к какому «роду».

— Я спрашиваю, писали ли вы где-нибудь в другом месте что-либо подобное?

— Я никогда не повторяюсь.

Карсон вынул новый листок.

— «Отель «Савой», Набережная Виктории, Лондон,— зачитал он.— Дорогой мой, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый сок виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает, это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным греком. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю (тут,— обратился адвокат к судье,— идет несколько неразборчивых слов, но я попрошу свидетеля их прочесть)... чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим. Все же мне надо встретиться с тобою как можно скорее. Ты — божественное существо, которого я жажду, ты — гений красоты. Но как это сделать? Ехать мне в Солсбери? Мой счет здесь составляет 49 фунтов за эту неделю. У меня также новая гостиная. Почему же тебя нет здесь, дорогое, чудесное дитя? Я

должен ехать, а тут — ни денег, ни кредита, и в сердце свинцовая тяжесть.

Твой Оскар».

— Полагает ли мистер Уайльд, что это также необычное письмо?

— Все, что я делаю, необычно. Не думаю, что я мог бы быть заурядным.

— Попрошу вас объяснить эти несколько неразборчивых слов.

Уайльд кончиками пальцев взял засаленную, грязную бумажку.

— «Предпочитаю стать жертвой шантажа»,— прочитал он и бросил листок на стол адвоката.

Наступила минута молчания. Карсон взвешивал в руке брошенное ему письмо.

— Мистер Уайльд заявил, что упреки лорда Куинс берри не имеют оснований. Подтверждает ли мистер Уайльд свое заявление?

— Подтверждаю.

Адвокат вопросительно взглянул на судью. Коллинз закрыл папку и объявил, что заседание откладывается на завтра.

Уайльда окружили друзья. Все, смеясь, повторяли его ответы.

Толпа медленно покидала зал со смутным чувством, что они видели Ариэля перед судом Калибана. Единственный, кто в тот день не мог заставить себя улыбнуться, был Оскар Уайльд.

— Вот куда приводят дурные пути,— говорил он бесцветным голосом.— Я очутился в самом сердце Фи листерии, вдали от всего прекрасного, блестящего, великолепного и дерзкого. Увидите, я еще стану поборником хорошего поведения, пуританства в жизни и моральности в искусстве.

На другой день вид у него был такой, будто в нем вдруг погас свет. Внешне все было, как вчера: карета, слуги в ливреях, свежий цветок в бутоньерке, но черты лица стали какими-то более плоскими, размытыми, движения были сонные, он как бы не владел руками, по многу раз лез в карман за папиросами. Королевский советник м-р Карсон, укутанный в складки своей тоги, наблюдал за ним скромным, выжидающим взглядом. Судья кашлянул, но, прежде чем он успел что-либо сказать, защитник лорда Куинсберри быстро вскочил с места и попросил, чтобы ему позволили задать свидетелю еще несколько вопросов. М-р Коллинз утвердительно кивнул. Адвокат вынул из папки пачку бумаг и поднес к глазам первую из них.

— Знает ли мистер Уайльд человека по фамилии Тейлор?

— Да.

— Бывал ли он у вас?

— Да, бывал.

— А вы бывали у Тейлора на чаепитии?

— Да.

— Не привлекала ли квартира Тейлора ваше внимание чем-то необычным?

— Там было красиво.

— Кажется, она всегда освещалась свечами, даже днем?

— Возможно, но я в этом не уверен.

— Встречали вы там молодого человека по фамилии Вуд?

— Да, один раз встретил.

— А бывал ли на чаепитиях Сидней Мейвор?

— Возможно.

— Что связывало вас с Тейлором?

— Он был моим другом, *»то* умный и хорошо воспитанный юноша.

— Знали ли вы, что Тейлор состоит под надзором полиции?

— Нет, не знал.

— В прошлом году при облаве Тейлор был арестован в заведении на Фицрой-сквер, вместе с неким Паркером.

— Я узнал об этом из газет.

— Это, однако, могло быть поводом для разрыва отношений.

— О нет, Тейлор мне объяснил, что пришел туда на танцы и что полиция сразу же освободила его.

Карсон открыл рот для нового вопроса, но тут же его закрыл. Вопрос, видимо, был особенно затруднительный — во всяком случае так можно было понять по его колебанию, длившемуся, впрочем, всего несколько секунд.

— Имеющиеся у меня сведения,— начал адвокат,— весьма скудны. Они собраны поспешно и могут содержать много неточностей. Между прочим, тут говорится о каких-то обедах, на которых бывали молодые люди. Эти обеды якобы устраивал Тейлор по поручению мистера Уайльда.

— Это ложь! — И Уайльд обратился к судье:— Милорд, прошу защитить меня от подобных оскорблений.

— Я не хотел вас оскорблять, мистер Уайльд,— опередил судью Карсон.— Я сделал оговорку, что не имею точных сведений. Подобные детали остаются тайной полиции. Мой вопрос скорее должен был звучать так: сколько молодых людей представил вам Тейлор?

— Всего их было пять.

— Давали ли вы им деньги, подарки?

— Возможно.

— А они? Давали ли они вам что-либо?

— Нет, ничего.

— Среди тех пяти, с которыми вас познакомил Тейлор, был ли некий Паркер?

— Да, был.

— Вы считали его своим другом. Очевидно так, раз вы его называли «Чарли», а он вас «Оскар». Сколько лет было Паркеру?

— Я не занимаюсь статистикой возраста знакомых. Выведывать, сколько лет человеку, которого встречаешь в обществе,— это пошло.

— Где вы встретили его в первый раз?

— В день моего рождения я пригласил Тейлора в ресторан Кеттнера, сказав, что он может привести, кого захочет. Он пришел с Паркером и его братом.

— Знали ли вы, что Паркер лакей без места, а его брат — грум?

— Нет, этого я не знал.

— Но вы ведь знали, что у него нет никаких литературных или артистических наклонностей и что он не является человеком высокой культуры. Что же было у вас общего с Чарли Паркером?

— Мне нравятся люди молодые, яркие, веселые, беспечные, оригинальные. Не люблю рассудительных и пожилых. Я не признаю общественных перегородок, и сам факт молодости, по-моему, это такое чудо, что я предпочитаю поговорить полчаса с молодым человеком, чем отвечать на вопросы королсвского советника преклонных лет.

В зале грянул смех, и долгое время его не удавалось унять. Когда замолкали первые ряды, из задних накатывалась новая волна веселья, словно все вдруг возжаждали высвободиться из-под гнета мрачного, удручающего часа, который они просидели затаив дыхание. Ведь с каждой новой фамилией, возникавшей из бумаг адвоката, воздух становился все тяжелей. Туманные, неуловимые, они всплывали как призраки, задерживаясь иногда лишь на миг, на ту частичку времени, которой хватает, чтобы сказать «да»,— единственное слово, придававшее им видимость существования,— и опять отодвигались в тень, и за ними чудились какие-то двери, какие-то стены, ведь они кружили по орбитам чьей-то жизни и обладали силою вампиров, способных эту жизнь уничтожить. Было поистине что-то напоминавшее жажду в этих вытянутых шеях, пересохших глотках, запекшихся губах — этакая ненасытность порочного и безжалостного любопытства человеческого, стоящего перед неожиданно открывшейся тайной.

Карсон и малейшим жестом не выдал, что слышал эту шутку, которая, отозвавшись в смехе, кружила вокруг него. Он спокойно перебирал бумаги, потом поднял глаза и с минуту задержал

взгляд на лице Уайльда, на том местечке, где у корней волос выступила едва заметная капелька пота.

— Снимал ли м-р Уайльд квартиру на Сент-Джеймс плейс?

— Да, с октября тысяча восемьсот девяносто третьего года до апреля тысяча восемьсот девяносто четвертого года.

— Приходил ли туда Паркер на чаепития?

— Да.

— Давали ли вы ему деньги?

— Три или четыре фунта — он жаловался, что сидит без денег.

— А серебряный портсигар на рождество подарили? — Да, подарил.

— Были ли вы у него дома однажды ночью до половины первого?

— Нет, не был.

— Посылали ли вы ему «прекрасные стихотворения в прозе»?

— Не думаю.

— Как вы восприняли известие об аресте Тейлора?

— Я был огорчен и написал ему об этом.

— Когда вы познакомились с Фредом Аткинсом?

— В ноябре тысяча восемьсот девяносто второго года.

— Знали ли вы, кто он?

— Возможно.

— Даже в этом вы не уверены. Но вы, я полагаю, заметили, что он не литератор, не художник. Сколько ему было лет?

— Девятнадцать или двадцать.

— Приглашали ли вы его в ресторан Кеттнера?

— Кажется, я встретил его на обеде у Кеттнера.

— Присутствовал ли Тейлор на этом обеде?

— Возможно.

— А впоследствии вы его еще встречали?

— Да.

— Вы были с ним в Париже?

— Да, был.

— Когда вы встретили впервые Эрнеста Скарфа?

— В декабре тысяча восемьсот девяносто третьего года.

— Представил его вам, кажется, Тейлор?

— Да, Тейлор.

— Это, конечно, происходило в той квартире на Сент-Джеймс-плейс?

— Нет надобности подчеркивать это столь настойчиво, мистер Карсон. В этой квартире бывало много людей, и таких людей, встреча с которыми была бы честью для иных королевских советников.

— Как вы можете это говорить, мистер Уайльд,— вмешался м-р А. Гилл и вдруг покраснел — то ли от возмущения, то ли под властным взглядом Карсона. Опять вернулись к Скарфу, а после нескольких вопросов всплыла новая фигура.

— Когда вы познакомились с Мейвором?

— В тысяча восемьсот девяносто третьем году.

— Прошу вас уточнить — мои записи на этот счет не вполне ясны: получал ли Мейвор от вас деньги или какие-нибудь подарки?

— Портсигар.

Послышался странный, приглушенный шум, что-то вроде хриплого урчанья. Этот звук никак нельзя было назвать вздохом — оказалось, однако, что это вздохнули склеротические легкие лорда Куинсберри.

Он сидел в клетке для подсудимых, и все о нем забыли, да он и не пытался привлечь к себе внимание, если не считать нескольких фраз, которые он пробормотал в начале заседания, отвечая на вопросы судьи. С того момента он ни единым словом не замутил своего глубокого, пронзительного наслаждения. Он впивался глазами в лицо своего врага, в каждую мимолетную складку усталости; ему чудилось, будто каждая капля пота, проступавшая на лбу Уайльда, возникала из того блаженного трепета, который щекотал ему позвоночник. Никогда в жизни он не испытывал подобного восторга. Все, что он до сих пор мог себе позволить, ограничивалось издевательствами над женой, тихой и кроткой женщиной, скандалами в клубах, нисколькими' уличными драками. Для этого не надо быть потомком! королей и владельцем большого богатства. И вот началась игра, на которую не жаль истратить все состояние. За нынешний день он про себя назначил Карсону особое вознаграждение. Карсон напоминал ему образ, в его глазах особенно привлекательный: спущенную с поводка собаку. И он инстинктивно понял, что погоня близка к цели, угадал это по чувству облегчения и тогда-то издал тот неистовый, шумный вздох. Все внезапно увидели маркиза: маленькую круглую голову, пожелтевшее лицо и пару больших, торчащих, огненно-красных ушей, — Мистер Уайльд простит мне, — снова заговорил Карсон,— если я еще раз затрудню его память. Речь идет о человеке, называющемся Уолтер Грейнджер. Он был слугою лорда Альфреда Дугласа. Мистер Уайльд, несомненно, видел его, в частности, в Оксфорде, где провел несколько дней в квартире молодого лорда. Я хотел бы знать — прошу опять-таки не истолковать дурно мой вопрос,— хотел бы знать, целовал ли его мистер Уайльд когда-либо?

— Ах, боже мой! Конечно, нет! Этот малый был чрезвычайно

некрасив, поистине злополучно некрасив. Мне было очень жаль его.

М-р Карсон, необычно оживившись, сделал удивленное лицо.

— Поэтому вы его не целовали?

— Ох, мистер Карсон, с вашей стороны это просто дерзость!

— Очень прошу извинить меня. Я хотел бы только знать, вы ссылаетесь на его некрасивость, чтобы объяснить, почему вы его никогда не целовали?

— Вовсе нет. Это нелепый вопрос.

— Понимаю. Но почему же тогда вы упомянули о его некрасивости?

— Даже вообразить смешно, чтобы нечто подобное могло случиться при каких бы то ни было обстоятельствах.

— Но я повторяю: почему вы упомянули о его некрасивости?

— Потому что вы своим вопросом оскорбили меня. Карсон не отставал. Долгое время только и были

слышны назойливые вопросы адвоката и все более невнятное бормотанье свидетеля. На лбу Уайльда у корней волос проступили венчиком мелкие блестящие капельки. Под конец Уайльд вспылил:

— Вы оказываете на меня давление, вы мучаете меня, оскорбляете, я просто сам не знаю, что говорю.

Тут встал сэр Эдуард Кларк. Его небольшая, тщедушная фигурка, бледное лицо, казавшееся еще более худым из-за темных вьющихся бачков, весь он, как бы сошедший с какой-то плохонькой иллюстрации к роману Диккенса, был слабым напоминанием о том, что у Оскара Уайльда есть свой адвокат. После короткой вступительной речи в первый день процесса сэр Эдуард ни единым словом не вмешался в поединок своего клиента и королевского советника Карсона. Никто не мог добиться от него объяснения, почему он не вызвал в качестве свидетеля лорда Дугласа. Это было бы единственное свидетельство, которое могло направить внимание присяжных на маркиза, на его бесчинства, на позор его отношений с семьей. В течение допроса Уайльда адвокат вел себя так пассивно, что, когда на скамье адвокатов его голова поднялась на несколько дюймов, это вызвало живейшее удивление. Карсон умолк на середине фразы, а судья с явной неприязнью глядел на вмешательство Кларка — разумеется, этого следовало ожидать, но было тут что-то неуместное, поскольку дело его клиента так покорно угасало среди толпы всех этих неожиданно явившихся призраков.

Обращаясь к судье, сэр Эдуард Кларк выразил удивление, что его клиента, вызванного в качестве свидетеля, допрашивают с

пристрастием, допустимым лишь в тех случаях, когда имеют дело с преступником. Защитник обвиняемого отодвинул на второй план предмет судебного разбирательства, запутал его историями, ничего общего с ним не имеющими, прикрыл ими самого лорда Куинсберри, о котором, собственно, должна идти речь. Дабы охарактеризовать Куинсберри, Кларк зачитал переписку маркиза с сыном, обрисовал их взаимную ненависть, привел факты в доказательство того, что маркиз является человеком буйным и опасным. А Оскар Уайльд оказался жертвою застарелой семейной вражды.

Когда его уже начали слушать с известным интересом, он вдруг умолк и, постояв безмолвно несколько секунд, сел. Судья предоставил слово защитнику обвиняемого.

Лорд Куинсберри, говорил м-р Карсон, принимает на себя полную ответственность за свои действия. Ничего нет удивительного в том, что отец хочет избавить сына от пагубной дружбы. Из допроса свидетеля стало ясно, что люди, которыми окружал себя м-р Уайльд, преимущественно были лакеями, кучерами, продавцами газет, и возраст их не превышал двадцати лет. К чему доискиваться, является ли м-р Уайльд автором рассказа «Священник и служка», если та же порочная идея выражена в письмах к лорду Альфреду Дугласу и в повести «Портрет Дориана Грея»? Там, где м-р Уайльд видит красоту, всякий порядочный гражданин видит нечто порочное, безнравственность поистине отталкивающую.

Судья отложил разбирательство на следующий день. Уайльд тяжело поднялся. Рядом с ним не было никого. В коридоре Дуглас взял его под руку, и они сели в ожидавший у входа экипаж. Друзья, пришедшие навестить Уайльда, не застали его дома.

После открытия третьего заседания м-р Карсон повторил все фамилии, о которых шла речь накануне. Он перечислил этих людей одного за другим, останавливаясь на подробностях их знакомства с Уайльдом, и наконец заявил, что попросит суд вызвать их в качестве свидетелей. Они наверняка сумеют уточнить многие неясности. Они расскажут, как это оказывают поддержку бедному парню, не имеющему места, как везут его в карете в ресторан на обед с шампанским, и, возможно, с их помощью обнаружится, для какой цели м-р Уайльд имел постоянную квартиру в отеле « Савой». В частности, Паркер мог бы дать комментарий к одному намеку в письме лорда Куинсберри.

Адвокаты Уайльда вышли, а когда через полчаса они вернулись в зал, сэр Эдуард Кларк пожелал побеседовать с Карсоном. Совещание адвокатов было недолгим. Еще более

бледный, чем обычно, Кларк взял слово.

В ходе судебного разбирательства можно было, мол, прийти к убеждению, что лорд Куинсберри в своей записке не высказал явного обвинения, а лишь предположение. Его клиент не видит оснований для преследования лорда за неосторожный домысел и, не желая затрагивать тягостные подробности, вносит предложение освободить обвиняемого и прекратить тяжбу.

— Я, со своей стороны,— сказал Карсон,— прошу лишь подтвердить, что лорд Куинсберри был в состоянии обосновать свои слова.

Судья Коллинз согласился, что нет достаточных причин для того, чтобы заниматься разными неприятными подробностями, не находящимися в связи с предметом тяжбы, и предложил присяжным вынести вердикт.

— Признали ли господа присяжные обстоятельства дела выясненными? — спросил после перерыва секретарь суда.

— Да, признали,— отвечал глава присяжных.

— Признали ли господа присяжные, что обвиняемый невиновен, и является ли это признание единогласным?

— Да. И мы также признали, что он действовал ради общественного блага.

— Отсюда, видимо, следует,— спросил Карсон,— что защите будут возмещены расходы?

— Да, конечно,— ответил судья.

— И лорд Куинсберри свободен?

— Разумеется.

Маркиз, выйдя из клетки, прошел на середину зала.

Толпа приветствовала его аплодисментами. Судья соби рал бумаги на столе и, казалось, не слышал шумной овации, столь необычной в этих суровых стенах. Уайльд у выхода натолкнулся на толпу, не дававшую ему пройти. Раздавались свист, крики, завыванье. Он попятился и прошел на улицу через боковые двери. Дуглас отвез его в отель «Кэдагэн», где Уайльд жил уже несколько недель. Выглянув из экипажа, Дуглас увидел дрожки, остановившиеся на углу Слоун-стрит. Там сидели двое мужчин. Это были детективы лорда Куинсберри.

Минуту спустя было принесено письмо. Бози узнал почерк отца.

«Если наша страна позволит Вам сбежать,— это относилось к Уайльду,— тем лучше для страны. Но если Вы заберете с собою моего сына, я буду преследовать Вас повсюду и убью Вас».

Разговор о бегстве шел еще с утра. Первым произнес это слово один из адвокатов, м-р Матьюс, за полчаса до судебного заседания.

— Если пожелаете, Кларк и я будем затягивать разбирательство так, чтобы вы успели добраться до Кале.

— Нет, я остаюсь,— ответил Оскар.

Слово «бегство» настолько тесно слилось в его уме со словом «погоня», что с той минуты он уже не мог избавиться от чувства, будто чья-то рука хватает его за воротник. После приговора колебаться уже было нечего. Росс принес известие, что поверенный маркиза, Чарлз Рассел, послал письмо на имя генерального прокурора, приложив копии всех документов и стенограмм процесса. Вместе с двумя другими адвокатами он, Рассел, отправился к судье, и было весьма вероятно, что сэр Джон Бридж нашел время их принять.

Росс взял у Уайльда чек на двести фунтов и немедля поехал в банк Херрис, Фаркуар и Ко, на Сент-Джеймс-стрит. Выходя из банка, он увидел агента, беседующего с его кучером. В отеле он застал Оскара за столом — тот пил рейнское и зельтерскую воду, один стакан за другим, не в силах утолить жажду. Уайльд попросил Росса съездить на Тайт-стрит и рассказать жене обо всем, что произошло.

Констанция зарыдала, стала бегать по дому, одевать детей, доставать вещи из шкафов.

— Оскар должен уехать за границу,— сказала она наконец, немного овладев собой.— Скажите ему это. Усадите его в поезд насильно. Он, наверно, не знает, что делать. У него бывают минуты бездумья и упрямства, о которых никто не догадывается.

Росс опять поспешил к дрожкам. В отеле «Кэдагэн» ничего не изменилось. Вся комната была серой от папиросного дыма. Оскар неподвижно сидел за столиком, уставленным бутылками. На уговоры друзей он отвечал одно:

— Поезд в Дувр уже ушел. Поздно.

Из конторы отеля принесли расписание поездов. До вечера было еще два поезда, более ранний успевал к пароходу до Кале. Надо было спешить. Но к понятию «спешить» назойливо цеплялось словечко «бегство», в котором таилась та страшная, неведомая рука, хватающая за воротник. Впрочем, все произошло слишком внезапно, слишком неправдоподобно, чтобы так продолжаться: можно ведь надеяться, что все опять обернется по-иному, ведь он имеет такое влияние, столько людей всегда стояло за него, он ведь не первый встречный, которого можно так просто бросить в тюрьму, еще есть где-то вершины, на которых он был недоступен и ото всего защищен. А в общем, лучше уж вот так сидеть и ждать, чем торопиться, прятаться от толпы, «красться, совершать множество всяких гнетущих, нелепых действий.

К Дугласу пришел его кузен, Джордж Уиндхем, и оба уехали

— как будто в палату общин. Не стало рядом единственного человека, который мог найти нужное слово, чтобы рассеять эти чары бессилия.

Около пяти часов явился репортер газеты «Стар». Редакция получила из надежного источника известие, что уже отдан приказ об аресте. М-р Марлоу говорил это почти шепотом Россу, однако Уайльд, который если и не слышал, то мог догадаться по выражению их лиц, вдруг поднялся, смертельно-бледный, потребовал денег, спрятал их в карман и надел шляпу. Минуту спустя, когда Росс подавал ему пальто, он легонько оттолкнул Росса и опять сел. Налив себе новый стакан вина, Уайльд выпил его одним духом.

— Где Бози?

Губы его дрожали, словно он сдерживал плач. Несколько раз в течение часа задал он этот вопрос, на который никто не мог ему ответить.

Было десять минут седьмого, когда раздался стук в дверь. Никто не пошевельнулся. Вслед за служителем отеля вошли двое полицейских.

— У нас есть приказ арестовать вас, мистер Уайльд,— сказал старший по чину,— по обвинению в безнравственных действиях.

— Позволят ли мне внести залог?

— На это я не могу вам ответить, это дело властей,

— А куда вы меня повезете?

— На Бау-стрит.

Уайльд с трудом встал и как бы ощупью надел пальто. Он двигался, как пьяный. Его усадили в дрожки.

Когда въехали в Уайтхолл, он встревожился:

— Почему сюда?

Ответа не было. Несколько минут спустя дрожки остановились в «Скотланд-Ярде», перед зданием Метрополитен-Полис. Уайльд настоял, что сам уплатит за проезд, и дал кучеру золотой соверен.

— Благодарю, мистер Уайльд,— сказал кучер. — Спрячу его на память. Это уже будет второй ваш подарок, еще у меня есть альпийский эдельвейс, вы купили мне его прошлой зимой в Ковент-гардене.

В комиссариате Уайльда продержали час запертым в особой комнате. Стало совсем темно. Наконец появился чиновник с лампой, он удостоверил личность и приказал отвезти арестованного на Бау-стрит. В следственной тюрьме Уайльду зачитали приказ об аресте, где говорилось о «глубоко непристойных действиях». Уайльда тщательно обыскали и заперли в камере. Спать он не мог. Всю ночь ходил взад-вперед,

не замечая, что через отверстие в двери за ним наблюдают глаза репортеров.

После ареста Оскара Росс вернулся на Тайт-стрит, но застал там только слугу, Артура. Чтобы взять немного одежды и белья, пришлось взломать шкаф. Впоследствии Росс при удобном случае вывез письма и рукописи, которые удалось найти второпях. На Бау-стрит инспектор полиции отказался принять чемодан с вещами.

— У меня на этот счет нет никаких инструкций. И, как я догадываюсь, власти не заинтересованы в том, чтобы мистер Уайльд получал что-либо из города.

После ухода Росса явился лорд Альфред. Чиновник сказал ему, что об освобождении под залог не может быть и речи.

— В подобных случаях полиция вынуждена соблюдать известную осторожность.

— Если вы имеете в виду бегство,— выкрикнул Дуглас,— можете быть спокойны, раз он до сих пор не сбежал.

— О, до нынешнего дня мы к этому были хорошо подготовлены. Не всегда можно рассчитывать на такую усердную помощь частных лиц,— шепнул, как бы доверительно, чиновник.

На другой день, 6 апреля, Уайльд предстал перед судьей.

Его ввели в зал с верхним освещением, с бледно-зелеными стенами и блестящими панелями. В глубине, на возвышении, сидел сэр Джон Бридж, слева от него находилась скамья адвокатов, справа — места для свидетелей. Чуть поодаль несколько молодых клерков пробовали свои перья. Напротив судьи стояла скамья, а за нею нечто вроде клетки, в которую и завел Уайльда полисмен.

В клетке уже находился Альфред Тейлор, которого тогда же арестовали по обвинению в соучастии,— он встал и, отвечая на приветствие Оскара, подал ему руку.

Это был молодой человек тридцати лет. Он происходил из богатой семьи фабрикантов какао, вел жизнь роскошную и эксцентричную. Квартиру, о которой столько говорилось на суде, он снимал в красивом доме на Литтл-Колледж-стрит, позади Вестминстерского аббатства. Окна там всегда были завешены, воздух пропитан духами, швейцар не мог сообщить, кто убирает квартиру. Тейлор не держал прислуги, говорили, будто он даже сам себе готовит пищу. При обыске нашли много дамских париков, некоторые с длинными косами, и запас необычного белья.

Обвинение огласил м-р Гилл, а когда он приступил к допросу Уайльда, сэр Джон Бридж неоднократно должен был его останавливать из-за оскорбительного тона вопросов и замечаний.

Опрос свидетелей занял целый день. Вынесение приговора судья отложил на четверг. М-р Трэверс Хамфрис лишь под конец заседания вышел из состояния полной пассивности и попросил, чтобы его клиента отпустили под залог, на что получил решительный отказ. Еще в тот же день Уайльда отвезли в Холлоуэй. Через щели в крыше тюремной повозки он видел первые загорающиеся ночные светила, слышал за стуком колес шумы улиц, которые оживил теплый апрельский вечер.

Газеты были полны сообщений и вымыслов об аресте, о проведенной под арестом в полиции ночи, о начавшемся следствии. После полудня на дороге Лондон-Дувр-Кале было замечено необычное движение. Носильщики удивлялись обилию дорогих баулов, чемоданов, несессеров, шляпных коробок, которые им приказывали доставлять побыстрее. В вагонах первого класса была теснота, какой не встретишь даже в пригородных поез дах в праздничные дни. Могло показаться, будто все, что представляло в Англии могущество, блеск, богатство, знатность, переселяется на континент. Там видели министров, знаменитых членов Академии, получивших дворянство миллионеров, генералов. К потоку эмигрантов присоединились несколько снобов, чтобы их упомянули среди убегающих знаменитостей. Прежде чем рассеяться по побережью Средиземного моря, все они собрались в Париже и целыми днями осаждали английский бар в квартале Сент-Оноре, ожидая известий о деле Уайльда. Каждый час вскрывались десятки голубых телеграмм, сообщавших о действиях английской полиции, которая, как оказалось, хранила в своих архивах свыше двадцати тысяч фамилий подозреваемых.

Только в четверг, 11 апреля, пришла важная новость: сэр Джон Бридж, подробно ознакомясь с материалами обвинения и на основании показаний свидетелей, заявил, что обвинение представляется ему обоснованным, вследствие чего дела обоих обвиняемых, Оскара Уайльда и Альфреда Тейлора, он передает в главный уголовный суд. М-р Хамфрис снова представил просьбу об освобождении под залог.

— Ответственность за разрешение на залог или отказ в таковом,— сказал судья,— лежит на мне. Тут я принимаю во внимание два обстоятельства: тяжесть преступлений и убедительность показаний. Я вынужден отказать вам в принятии залога и держать Оскара Уайльда в тюрьме до дня суда.

В течение трех недель ожидания суда вершился над Уайльдом суд общественный. В защиту нельзя было сказать ни слова. Фрэнк Харрис, в то время редактор и один из главных акционеров еженедельника «Сэтердей ревю», подготовил статью, в которой призывал общество проявить больше беспристрастия,

воздержаться от осуждения, пока не будет вынесен приговор правосудия. Книготорговая фирма «Смит и сын», владевшая киосками на всех вокзалах, была предупреждена типографией и известила Харриса, что не примет для продажи газету, которая посмеет поднять голос в защиту Оскара Уайльда. Книготорговцы прекратили продажу его произведений, все книги, имевшиеся на складах, были отосланы издателям. Театры вычеркнули его имя на афишах, но и это не помогло — залы опустели, пришлось пьесы Уайльда изъять из репертуара. Два его сына, Сирил и Вивиан, должны были оставить школу, словно они были из дома зачумленных. Дирекция Портора-скул в Эннискилле распорядилась убрать его имя с каменной таблицы, на которой были перечислены лучшие ученики, но в ту же ночь таблица по невыясненной причине треснула, и десять золотых букв бесследно исчезли.

Несомненно, больше всего вредила ему слава. Шум вокруг среднего человека никого не оскорбляет — он даже бывает как бы скрытым прославлением посредственности. Но незаурядный ум, бесспорный талант, очевид-_ ное и неоспоримое превосходство таят в себе нечто вызывающее и пробуждают хмурую, тупую ненависть.

Против Уайльда восстала ненависть мелкой буржуазии, не находившей у него ни одной из своих заурядных добродетелей. Лицемерный кальвинизм с невыразимым наслаждением поносил и затаптывал в грязь приверженца радостей жизни. Говорили, что он развратил Лондон. Ссылались на пустые церкви, на все более частые разводы. По вечерам женщине нельзя одной пройти по Хеймаркету или Пиккадилли! Самые древние старцы не упомнят таких неприличных слов, какие теперь слышишь от торговок и подметальщиков улиц! Имя «Оскар» стало нарицательным.

— Вы говорите, что Оскару уже не подняться вновь, потому что он оскорбил всех порядочных людей? — сказал один его друг. — Хуже того: на него ополчились все негодяи, потому ему и не подняться вновь.

Лавки, в которых были неоплачены счета, подавали жалобы в суд. Первую представил ювелир на сумму в сорок фунтов за булавку для галстука Дугласу. Расходы на процесс против маркиза достигли семисот фунтов. Их должен был покрыть Альфред, вместе с матерью и старшим братом. Все трое не исполнили обещания. Оскар оказался неплатежеспособным, суд признал его банкротом и распорядился о продаже его имущества с аукциона.

Дом на Тайт-стрит был уже давно пуст. Констанция с сыновьями переехала к родственникам. Остался только слуга.

Когда судебные исполнители пришли опечатывать имущество, он выбежал к ним голый, с цилиндром на голове. Безумец уцепился за большую, свисавшую с потолка люстру и стал раскачиваться на ней, пока не упал, причем сильно расшибся и порезался осколками хрусталя.

Аукцион походил на разбойничий набег. Были сорваны с петель двери, выломаны замки в шкафах и в письменных столах, на полу валялись осколки стекла, фарфора, клочки бумаги. Много вещей было украдено. Про пал план начатой комедии, рукопись оконченной драмы «Женщина, увешанная драгоценностями», из которой сохранился только отрывок; исчезла «Несравненная и удивительная история мистера У. Х., единственная, дающая ключ к сонетам Шекспира, впервые изложенная полностью». Это был подготовленный для печати новый, расширенный вариант «Портрета м-ра У. Х.», который за несколько дней до процесса прислал Уайльду издатель для каких-то дополнений.

Толпа напирала на чиновников, и те, будучи не в состоянии унять шум, продавали только стоявшим поближе. Одна из лучших картин Уистлера была продана за несколько крон. Так же, по дешевке, попали в неизвестные руки рисунки Берн-Джонса, полотна Соломона и Монтичелли, дорогой фарфор, наконец, библиотека — несколько тысяч томов в дорогих переплетах, редкие издания, собиравшиеся Уайльдом со студенческих лет у антикваров на Холиуэлл-стрит и у букинистов на берегах Сены, собственные произведения Оскара, напечатанные на особой бумаге, в переплетах, изготовленных по его замыслу и рисунку, полные пометок и эскизов, книги с посвящениями от Виктора Гюго, Уитмена, Суинберна, Уолтера Патера, Малларме, Морриса, Верлена, от всей современной литературной Англии и Франции, вещи для писателя драгоценные и ничем не восполнимые. Два дня толпились там люди, каждому хотелось приобрести за несколько пенсов клочок этой греховной роскоши. Бози сходил с ума от радости, что лорду Куинсберри аукцион не возместил и половины его судебных затрат.

Уайльд делал, что мог, дабы собрать деньги для защиты. Но, сидя в тюрьме, он мало что мог сделать. Он писал отчаянные и бесплодные письма. Просил Роберта Шерарда, находившегося в Париже, продать Саре Бернар авторские права на «Саломею» за триста — четыреста фунтов. Получив письмо, Шерард в тот же день отправился на бульвар Перейр. Актриса разволновалась, заплакала. Она говорила, что, разумеется, она теперь ставить «Саломею» не может, что такой крупной суммы у нее нет, но она посмотрит, что найдется в кассе ее театра, поищет у знакомых, не даст ли кто взаймы, пусть Шерард придет через несколько дней, в

понедельник, и пусть напишет своему бедному другу, как глубоко она ему сочувствует, как сильно хочет ему помочь. Она готова была обнять Шерарда. В понедельник ему отворил дверь негритенок, паж Сары, и сказал, что хозяйка ушла, не оставив никаких распоряжений. Ше рард заметил, что он улыбается, но все же пришел еще несколько раз — актриса всегда была чем-то занята и не могла его принять, наконец ему пообещали, что он получит письмо, и он прождал этого письма целую неделю с терпением и надеждой, которую можно было оправдать лишь большой его преданностью Уайльду. «Твоя рыцарская дружба, твоя прекрасная рыцарская дружба стоит больше, чем все деньги мира»,— ответил ему Оскар из Холлоуэя.

Писанье писем представляло единственную и столь хрупкую связь с миром, от которого он был отрезан внезапным несчастьем, принявшим такое множество страшных обличий. Это было также единственное занятие, не подлежавшее тюремным ограничениям. Начальник Холлоуэя, в чью обязанность входил просмотр писем, посылаемых из его заведения, вначале с немалым трудом разбирался в узеньких, колышущихся, как ленты, строчках, и его суровое, хмурое лицо недовольно морщилось, когда на него сыпалось это обилие слов, содержавших так мало настоящего смысла, истинное словесное буйство, нездоровая, по его мнению, горячка болтливости. Он относил это за счет ирландской крови и всякий раз не мог сдержать удивления.

— Право, господа,— говорил он своим подчиненным,— впервые случается мне видеть, чтобы человек ожидал суда среди такой сумятицы слов.

В конце концов он перестал этим заниматься и свел исполнение своего долга к тому, что старательно ставил печать на приносимых ему каждый день стопках почтовой бумаги.

«Сумятица слов» — то было, возможно, самое удачное определение. Оскар одурманивал себя словами, как наркотиком. Он писал всем друзьям, чаще других — Альфреду Дугласу. Тот, впрочем, посещал его ежедневно. Каким-то образом Бози удалось получить разрешение на часовую беседу в отдельной комнате — четыре голые стены, простой стол из некрашеного дерева и два стула с соломенными сиденьями. Появлялись папиросы, виски и содовая. Уайльд, которого после захода солнца запирали в камере, страдающий бессонницей, лишенный табака, видевший остальных друзей только через решетку в полном людей зале, принимал каждый такой час, как дивный, неожиданный дар из тех скупых рук, у которых откуда-то появилась сила отодвигать засовы и еще более тяжкие полицейские правила. То, о чем бе седовали эти двое, не заслуживало даже гримасы пренебрежения:

начальник тюрьмы, слушая доклад стражника, который всегда присутствовал при свиданиях, прерывал его после первых нескольких фраз. Ведь в стихах Вордсворта о майском ветре никак не усмотришь связь с делом человека, обвиняемого в глубоко безнравственных действиях.

За исключением этого часа да времени, когда Уайльд писал письма и магия слов очищала его от душевных терзаний, остаток дня и всю ночь он находился в состоянии смиренной покорности человека побежденного и отринутого судьбою. М-р Трэверс Хамфрис, посетивший его несколько раз, не мог почерпнуть ничего утешительного из вида этого небритого, серого лица, сутулящейся спины и неподвижно сплетенных на колене рук. За несколько дней перед судом лорд Альфред Дуглас уехал в Кале и остановился в отеле «Терминус», где уже с неделю жил Роберт Росс.

Процесс открылся в субботу, 26 апреля, в Олд-Бей ли. Председательствовал судья Чарлз, обвинителем был м-р Гилл. Сэр Эдуард Кларк, м-р Чарлз Матьюс и м-р Трэверс Хамфрис заняли места на скамье защиты. Уайльд сидел на скамье подсудимых рядом с Альфредом Тейлором, усталый, опустившийся, в плохо очищенном костюме с прилипшими соломинками из тюремных матрацев. Среди публики, в одном из первых рядов, находился маркиз Куинсберри с пунцовой розой сорта «Кримсон Рэмблер» в бутоньерке.

При открытии заседания Кларк потребовал, чтобы дело Уайльда отделили от дела Тейлора, ибо нет доказательств, что его клиента можно подозревать в соучастии в преступлениях человека, который подвергался аресту и состоял под надзором полиции. Соседство с ним на одной скамье создает ложное и вредное впечатление, что может оказать нежелательное воздействие на присяжных.

— Согласен,— сказал судья,— что это— пункт щекотливый, но оба дела поступили ко мне с Бау-стрит вместе и так были утверждены в вердикте присяжных (true-bill). Иной под ход к ним можно установить только на основании опроса свидетелей, посему предложение защиты я должен отвергнуть.

Вызвали свидетелей. Они шли один за другим: Чарли Паркер, Фред Аткинс, Эрнест Скарф, Уолтер Грейнджер, Мейвор, Шелли, Альфред Вуд. М-р Гилл извлекал из каждого возможно больше подробностей, что, впрочем, заранее было подготовлено адвокатами маркиза в беседах с каждым из них. Даже без метких замечаний защиты, без неожиданных вопросов Кларка, после которых обычно слышалось невнятное бормотанье, суд справедливый и непредубежденный — если бы в этом зале

находился таковой — обнаружил бы во всем этом откровенный сговор: от свидетелей так и разило шантажом. Фред Аткинс к тому же находился под угрозой тюрьмы за лжесвидетельство. Один Шелли был исключением, но он был не вполне в своем уме. Зачитывали его письма, где говорилось о боге с такой восторженностью, которую всякий англичанин счел бы неуместной, а затем, почти без всякого перехода, шли страницы о чувственных восторгах, довольно туманные, как бы в полусне написанные, несмотря на дурманяще экзальтированные выражения— это казалось каким-то непре кращающимся кошмаром. М-р Матьюс обратил внимание судьи на то, что Шелли лишь под действием вопросов обвинителя начинал как-то увязывать смутные образы своей фантазии с личностью обвиняемого.

— Не знаю, какие выводы сделают из этого присяжные,— сказал судья.— Что до меня, я полагаю, что здравый смысл велит отвергнуть гипотезу защитника. Чего ради стал бы этот молодой человек с живым умом выдумывать вещи, о которых и вообще-то говорить неприятно, а особенно в этом зале.

После воскресного перерыва разбирательство дела продолжили 29 апреля. Горничная из отеля «Савой» давала показания при закрытых дверях. Судья, указывая на Уайльда, спросил, узнает ли она его.

— Да... конечно... Но то, о чем я говорила... Нет. Он показался мне моложе, гораздо моложе и не таким высоким.

Сэр Эдуард Кларк внезапно встал и попросил разрешить ему минутный разговор с его клиентом.

— У меня нет замечаний,— сказал адвокат, когда оба они возвратились в зал.

Уайльд сидел бледный, слегка склонив голову набок. Страх исчез из его глаз. По опухшим губам пробежало что-то вроде улыбки.

В темных зрачках, глядевших так спокойно, уже тогда таились мысли, высказанные двумя годами позже: «Чужие грехи были отнесены на мой счет. Стоило мне захотеть, и я мог бы на обоих процессах, разоблачив того человека, избежать — разумеется, не позора,— но тюрьмы. Я сумел бы доказать, что три главных свидетеля были тщательно вышколены маркизом и его адвокатами,— о чем им молчать и о чем говорить, и как, заранее сговорившись и прорепетировав, перенести чужие действия и поступки на меня. Я мог каждого из них удалить из зала властью судьи еще более решительно, чем то сделали с жалким лжесвидетелем Аткинсом. Я мог бы выйти из суда, засунув руки в карманы, выйти свободным. Мне это советовали, меня заклинали,

умоляли. Но я отказался. Я предпочел не делать этого. Никогда, ни на одну минуту я не пожалел о своем решении. Такой поступок был бы ниже моего достоинства. Грехи тела — ничто. Постыдны только грехи души. Если бы я обеспечил себе свободу такими средствами, я терзался бы до конца дней».

К нему вернулось сознание своего превосходства, и над загородкой показался четкий профиль его лица, осветившегося внезапным оживлением. Речь пошла опять о литературе. Зачитали стихи Дугласа «Хвала стыду» и «Две любви».

— Это не стихи Уайльда, мистер Гилл,— перебил Кларк.

— А я, кажется, этого и не утверждал.

Мистер Гилл желал узнать, что означает «любовь, не смеющая себя назвать вслух». Три головы защитников, будто на пружинах, обернулись в сторону Уайльда, на всех трех лицах— просьба об осторожности, но было слишком поздно.

— Любовь, не смеющая назвать себя вслух,— говорил Уайльд, — речь идет, разумеется, о нашем веке, ибо наш век не может или не хочет ее понять,— это глубокое чувство мужчины, старшего годами, к младшему, чувство Давида к Ионафану, чувство, составляющее основу философии Платона, заключенное в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это глубокое духовное чувство, столь же чистое, сколь совершенное, оно порождает великие произведения искусства, такие, как у Микеланджело и у Шекспира; и эти два стихотворения,— они также произведения искусства, до такой степени непонятные в наше время, что вот я стою теперь перед судом. Это прекрасное чувство, чувство возвышенное, благороднейшее. Это чувство интеллектуальное, и возникает оно тогда, когда старший наделен интеллектом, а младшему еще присуща радость и лучезарная надеж да жизни. Мир этого не понимает, мир бесчестит и пригвождает к позорному столбу все, что с этим связано.

Среди публики раздались аплодисменты. Судья застучал молотком.

— Публика должна соблюдать полную тишину. Если это еще раз повторится, я прикажу очистить зал.

Но м-р Гилл уже закончил опрос, и судья отложил заседание на следующий день. В среду выступления Кларка, обвинителя и судьи продолжались до полудня, после чего был оглашен вердикт присяжных. Три голоса были поданы за освобождение. Из-за отсутствия единогласия дело назначили на новое рассмотрение, не сразу, но только в конце мая. На сей раз залог приняли. Из пяти тысяч фунтов Уайльд дал гарантию на половину суммы, остаток поделили между собой лорд Перси Дуглас оф Хоик и преподобный Стюарт Хедлем.

Из Олд-Бейли Уайльд попросил отвезти его в гостиницу, где для него сняли комнаты. Кучер, словно не расслышав, еще раз спросил адрес. Оскар повторил громче, и в этот миг какая-то тень скользнула в щель между домами. Фиакр ехал с непонятной медлительностью. Они еще не добрались до места, как часы на церковной башне пробили семь.

Служителю, проводившему его наверх, Уайльд сказал, что обедать будет у себя в номере. Но не успели подать тарелки, как вошел хозяин и попросил тотчас съехать из гостиницы. Он, мол, знает, кто его постоялец, и не желает, чтобы тот хоть минутою дольше оставался под его кровом. Уайльд дал отвезти себя на окраину Лондона, где кучер сам указал ему гостиницу. Это был неказистый и грязный постоялый двор. Там никто его не знал. Он был настолько утомлен, что сразу же лег. Его разбудил стук в дверь, который он сперва принял за кошмар. Когда же стук повторился, еще более громкий, Уайльд встал и открыл. Хозяин, кланяясь, что-то бормотал. Очевидно, он чего-то просил и в чем-то оправдывался.

— Эти люди говорят, что, если вы отсюда не уедете, они разнесут дом и наделают шуму на весь околоток.

— Какие люди?

Хозяин пожал плечами и возвел глаза к потолку.

Потом стал усердно помогать постояльцу одеться.

На улице было пусто и темно. В самом ее конце, там, где горел фонарь, прикрепленный к стене углового дома, бродило десятка полтора фигур. Уайльд направился в противоположную сторону. Сделав несколько шагов, он побежал, охваченный неодолимым страхом. Наконец, чувствуя, что силы его покидают, он остановился и поглядел назад. Позади не было никого.

Около часу пополуночи в доме на Оукли-стрит послышался тихий стук в окно. Сидевший за письменным столом Вилли Уайльд не обратил на это внимания. Сдвинул его с места только окрик матери из соседней комнаты:

;— Сходи, Вилли, посмотри, кто там на лестнице.

В коридоре улверей лежал Оскар.

— Пусти меня, Вилли, пусти поспать хотя бы на

полу, иначе я умру на улице.

Старший брат, который в этот час обычно уже плохо держался на ногах, с трудом втащил его в помещение. При свете Оскар заметил в его глазах торжествующий огонек. «К счастью,— думал пьянчуга,—мои грехи вполне пристойные».

Утром Оскар проснулся в комнате, заставленной шкафами и другой старой мебелью. Перед его глазами было окно с такой темной занавеской, что свет дня казался унылыми сумерками. У

Оскара был жар, мучила жажда, но он боялся позвать — не знал, кто появится в-дверях, закрытых плюшевой портьерой.

Он увидел мать. Когда она нагнулась над ним, один из медальонов, которые она носила на груди, отцепился и упал ему на руку. То была миниатюра, изображавшая его мальчиком девяти лет, с челкой на лбу и веточкой сирени в петлице костюмчика.

Через несколько дней его начали посещать друзья. Приехал из Парижа Роберт Шерард.

— Почему ты не привез мне яду из Парижа?

Он много раз повторял этот вопрос; звучание слов

«poison from Paris» доставляло ему явное удовольствие. Ежеминутно просил еще и еще лимонаду. Прерывал разговор на половине фразы и надолго впадал в молчаливую задумчивость. Ему читали сонеты Вордсворта, он слушал, прикрыв глаза. .Чрезвычайно удивился неправильной рифме:

— Что это такое?

И рассмеялся прежним своим искренним смехом. Какая-то дама под вуалью принесла пакет, в кото

ром были подкова, букетик фиалок и записка со словами: «Желаю счастья». Пришло несколько писем, одно из Мадрида от какого-то узника, писавшего, что он родственник Оскара, и просившего поддержки. Иите принес письма с выражением сочувствия от многих друзей из Ирландии. Вилли был этим недоволен: «Кто же защитит его лучше, чем я?» — говорил он. И бегал по Лондону, чтобы заводить разговор об «этом бедном Оскаре».

— Это ужасно,— сокрушался Оскар.— Вилли способен опорочить даже паровую машину.

В конце недели явился Фрэнк Харрис и увез Оскара к себе на обед. У него был подготовлен план бегства, нанята яхта, стоявшая на Темзе,— он хотел перевезти Уайльда во Францию. По пути на пристань Оскар неожиданно выскочил из фиакра.

— Это невозможно, Фрэнк. Я знаю, это было бы чудесно, но нет, нельзя. Меня бы сразу арестовали. Ты не знаешь, что такое полиция. Сидеть во Франции и дрожать, прятаться, убегать от каждого полицейского — нет, Фрэнк, это было бы ужасно.

— Выдумки! На континенте никто не имеет права тебя арестовать.

— А залог, Фрэнк? Ты забываешь, сколько человек за меня поручилось.

— Ты вернешь им деньги. Опишешь свое бегство и заработаешь тысячи.

— Нет, это невозможно. Если до вечера я не вернусь на

Оукли-стрит, Вилли сообщит в полицию.

— Твой брат?

— Да, он.

— Пусть так. Пока кто-нибудь узнает, мы будем уже в море. Да в конце концов до двадцатого мая ты свободен, ты можешь делать, что хочешь.

— О, ты не знаешь моего брата. Он заставил меня выкупить несколько моих писем. И потребовал за них больше, чем кто-либо другой.

Они снова уселись в фиакр.

— На Оукли-стрит, Фрэнк, смотри же.

По дороге Уайльд всякий раз, когда ему казалось, что едут не в том направлении, готов был опять выскочить.

Перед домом стоял Вилли.

— Я уже беспокоился,— сказал он, беря Оскара под руку.

— Почему? — спросил Харрис.

— Боялся, что вы уговорите его бежать. А он — прошу, вас, мистер Харрис, это запомнить — он ирландский джентльмен. Ирландский джентльмен никогда не бежит от английского суда.

«Обесчещенное имя, жизнь в непрестанном страхе перед преследованием,— писал Оскар Дугласу,—нет, это не для меня, которому явился ты на той высокой вершине, где все прекрасное обретает новые формы. Впрочем, с тех пор как я вышел из тюрьмы, в меня вселилась надежда, что я туда никогда уже не вернусь. В этот раз было три голоса, за оправдание, на следующем процессе их будет двенадцать! Представляешь, ка какой это будет день? Я хотел бы, чтобы ты был со мною, но предпочитаю знать, что ты вне всякой опасности, золотой мой мальчик. Довольно того, что мрачное испытание пройдет только через мои жилы — в твои оно уже вольется волною смеха, волною счастья».

Пожалуй, ни один человек не был дальше него от надежды и счастья.

В последние дни он вовсе перестал выходить. Ж аловался, что болен, и казалось, отчаяние его парализует. Вилли то и дело приводил к нему мать, и она говорила:

— Если бы ты сбежал, Оскар, я бы от тебя отреклась.

Он все считал, сколько еще осталось ему часов этой отравленной свободы. Пробовал свыкнуться с мыслью, что ему дадут год тюрьмы, половину того, что определено самой суровой статьей закона.

Несколько дней передышки имел он в доме одной из своих знакомых, богатой Ады Леверсон, которая предоставила ему две комнаты на втором этаже. То были детские комнаты, полные

игрушек, Уайльд попросил игрушки не убирать. Завтрак, обед и полдник приносили ему наверх, только вечером он появлялся у своих хозяев, одетый, как в прежние времена, с цветком в бутоньерке, с прической а 1а Нерон. Тут навестила его жена, умоляла бежать из Англии. Но день-другой покоя вернули ему уверенность в себе, он не желал ни о чем слышать, готовился к победоносной битве.

Утром 20 мая за ним приехал лорд Дуглас оф Хоик. Судебное заседание началось долгим юридическим спором, в котором участвовали Кларк, судья Уиллс и обвинитель сэр Фрэнк Локвуд. Речь шла об исключении Уайльда из дела Тейлора, а когда это произошло, возник вопрос, какое дело разбирать раньше. Кларк добит вался, чтобы первым шло дело Уайльда, резонно опасаясь, что после осуждения Тейлора присяжные будут сильно предубеждены. По той же причине обвинитель этому, воспротивился. Дело Тейлора заняло два дня, обвиняемый не признал себя виновным, присяжные вынесли вердикт, осуждающий его. Однако судья не огласил приговора, объявив, что сделает это позже, и назна чш! слушание дела Уайльда на следующий день, при новом составе присяжных.

Куинсберри, высидев до конца, не мог вместить распиравшей его радости и напился допьяна в ресторане «Спирс энд Понде Баффет» по соседству с Олд-Бейли. Из ресторана он послал телеграмму своей невестке, леди Дуглас оф Хоик:

«Спешу принести поздравления по поводу вердикта, если не по поводу мины Перси, который ходит как живой труп, наверно, от избытка поцелуев. Тейлор осужден, завтра очередь Уайльда».

С тех пор как Перси поручился за Уайльда, маркиз чуть не каждый день слал его жене подобные письма или телеграммы. Наконец сын с отцом случайно встретились на Пиккадилли вечером 23 мая. Почти с первых же слов вспыхнула ссора, маркиз поднял трость, два или три раза ударил сына, потом они стали драться по всем правилам бокса, согласно «Queensberry rules of boxing»[26]. Полицейский отвел их в участок, там составили протокол, а на другой день оба предстали перед полицейским судом за нарушение общественного порядка.

— Так старый пьянчуга входит в историю девятнадцатого века,— молвил Уайльд, когда за обедом у м-с Леверсон ему рассказали об этой стычке.

Это последний вечер перед решающим днем. Собралось немного друзей, на столе красуются любимые тетерева, в хрустальной вазе со льдом бутылка шампанского. У мужчин в бутоньерках туберозы, хозяйка дома приколола к корсажу две белые камелии. Говорят мало, все следят за пробегающими по

лбу Уайльда тенями. Он заканчивает беседу с м-ром Хамфрисом — обсуждают, как обеспечить мать денежным пособием.

— Вы понимаете, на время моего отсутствия. К примеру, на какой-нибудь год, если я сам не смогу этим заниматься.

Лоб его вдруг светлеет, глаза блестят по-прежнему. Он начинает смеяться. Смех вырывается так неожиданно, что склоненная лысая голова слушающего адвоката резко отшатывается. Уайльд рассказывает историю некоего изобретателя.

Молодой человек придумал такое кресло для театрального зала, которое дало бы большую экономию места. Его друг пригласил на обед две дюжины миллионеров, им показали модель театра на шестьсот мест, привели расчеты о практичности изобретения, и миллионеры согласились дать деньги. Однако ночью молодой человек занялся вычислениями. До утра он считал, сколько прибыли принесло бы это кресло во всех театрах мира в течение года. В следующий день он подсчитывал места во всех церквах на свете, потом перешел к школьным классам, к университетским аудиториям, принялся соображать, какие заведения могли бы еще использовать его изобретение. После недели напряженного труда он дошел до миллиардов денежной прибыли, а также многих выгод моральных, политических и религиозных. Закончив вычисления, он узнал, что миллионеры уже и слышать не хотят о его далеко идущей, сулящей целый переворот затее.

Оскар заключает рассказ новым взрывом смеха. Всего минуту назад оживленные жесты, обилие слов, быстро меняющихся образов как бы заслоняли его самого, теперь он сидит весь открытый неуверенным, слегка испуганным взглядам присутствующих. Никто не ожидал этой истории, никто ее не понимает — все пытаются уловить какую-то связь между нею и самим Уайльдом. Трудно видеть в нем просто переполненное смехом существо. Но он все смеется, смех клокочет у него в горле как прежде, как всегда, и наконец сидящие за столом дают себя увлечь, хохочут, забыв обо всем.

По лбу Уайльда опять пробегают тени. Он вынимает из кармана часы, портсигар, карандашик в золотой оправе, записную книжечку в кожаном переплете, раскладывает все это на столе, прибавляет еще два-три перстня, расческу из слоновой кости. Потом оделяет всех по очереди. Расческа достается лысому адвокату.

— Я могу быть уверен, мистер Хамфрис, что в ваших руках мой подарок не износится.

Он поднимается, просит извинить, но он устал (завтра надо

раньше встать) и, пожелав всем спокойной ночи, уходит наверх.

На другой день Уайльд снова сидел на скамье подсудимых и, как все эти дни, чертил на листке бумаги буквы греческого алфавита, кружки, сетки, свастики, только бы не поднимать глаза, не видеть усмешки обвинителя, узких губ, квадратной челюсти и прищуренных глаз судьи. Все происходившее как бы отгораживала пелена тумана, фамилию Уайльда надо было повторять дважды, чтобы он встал и снова давал те же ответы на те же вопросы. Дело продвигалось туго, будто скрипу чий, заржавевший, непослушным механизм. В моменты, которые легко было предвидеть, возникали юридические споры между судьей, обвинителем и защитником, потом опять появлялись свидетели, все те же. Куинсберри их приодел, кормил вдоволь и перед судебным заседанием не спускал с них глаз. Не удалось ему лишь изменить их прошлого, оно ежеминутно всплывало из документов. Уайльд слушал рассеянно, мысли его были далеко, и он не заметил, как в этой мельнице правосудия что-то все же застопорилось. Показания свидетелей отпадали, как шелуха. Шелли признали умалишенным, Вуд и Паркер брали у маркиза деньги, были шантажистами, их свидетельства не подтверждались. «Тому, что говорит Вуд, нельзя верить,— признал судья,— так как он принадлежит к самому низкому классу отбросов общества». А несколько истерических горничных вели себя так, что судья готов был удалить их из зала. Зоркий наблюдатель заметил бы, что из всех материалов обвинения не осталось ничего, кроме взятых из книг Уайльда фраз да следов дыма от сожженных писем, которые он выкупил у Вуда. Однако присяжным не хотелось утруждать себя. Дело уже так запуталось, расхождение в свидетельствах зашло так далеко, ч?о единственной опорой для присяжных были ожесточение прессы, злая воля судьи и коварное рвение Локвуда. Их совершенно покорили картины, нарисованные в его обвинительной речи, походившей на отрывок из Светониевых «Жизней цезарей». В последний день, 25 мая, судья Уиллс усердно внушал им убеждение в том, что он совершенно беспристрастен. Кларк неоднократно прерывал его речь, добиваясь опровержения ложно освещенных фактов, на что в конце концов получил отповедь: «Речь судьи не может быть бесцветной, не то она никому не принесет пользы».

В начале каждого раздела речи появлялась одна и та же дата: 1892 год. Ни одно свидетельское показание не заходило дальше того месяца и дня, когда Оскар Уайльд познакомился с Альфредом Дугласом. Глава присяжных спросил, отдан ли приказ об аресте молодого лорда.

— Не думаю,— сказал м-р Уиллс.— Мне об этом ничего не известно.

— А не говорилось ли об этом? Суд этого не добивался?

— Не могу вам дать ответа. Чтобы был отдан приказ об аресте, мало свидетельских показаний, нужны доказательства совершения наказуемых действий. Пи сем, говорящих об отношениях такого рода, недостаточно. Нет, лорда Альфреда не вызывали, но господа присяжные могут оценить эти обстоятельства, как сочтут необходимым.

— Если из этих писем можно сделать вывод какой-либо виновности,— сказал глава присяжных,— то ее в равной мере разделяет лорд Альфред Дуглас.

— Это к делу не относится. Господа присяжные лишь должны своим вердиктом подтвердить вину подсудимого.

Так и остался в общественном мнении незапятнанный образ лорда Альфреда Дугласа, благородного юноши, который под влиянием развратного писателя был близок к падению, но был спасем заботливым и любящим отцом.

В половине четвертого присяжные удалились для совещания. Через два часа они прислали судье вопрос: было ли подтверждено, что Чарлз Паркер провел ночь в квартире на Сент-Джеймс-плейс. М-р Уиллс ответил, что нет, не было. Еще через несколько минут присяжные возвратились в зал с подтверждением всех двадцати пяти пунктов, из которых с дюжину сам судья готов был отвергнуть за отсутствием доказательств.

Выслушать приговор привели Альфреда Тейлора.

— Оскар Уайльд и Альфред Тейлор,— начал судья,— преступление, вами совершенное, отвратительно. Ограничусь этим определением, хотя мне трудно подавить чувства, которые пробуждаются в душе каждого уважающего себя человека перед лицом фактов, обнаруженных в ходе этих двух ужасных процессов. В том, что на сей раз присяжные вынесли вердикт правильный и продиктованный совестью, нет ни малейшего сомнения. Мое освещение дела могло показаться слишком осторожным, что можно объяснить соображениями приличия и присущей каждому судье заботой о том, чтобы ни тени предубеждения не проникло в акт правосудия. Однако состав присяжных является голосом гражданской совести и наилучшим образом исполняет свой долг тогда, когда выражает глубокое возмущение подобными поступками. Но бесполезно читать тут проповедь. Люди, способные на такие вещи, разумеется, нечувствительны к позору, и нечего ожидать от них какого бы то ни было раскаяния. Нельзя сомневаться, что от вас, Уайльд,

исходила зараза самой отвратительной порчи нравов. Благодаря своей профессии и положению вы располагали сатанинскими средствами. Хотя это дело самое неприятное из всех, какие я доныне вел, я почти счастлив, что моею рукой будет отсечен сей ядовитый побег на здоровом стволе нашей нравственности. В этих условиях все ждут от меня самого сурового приговора, допускаемого нашим правосудием. И приговор этот, по моему мнению, будет еще слишком мягким. По приговору суда Ее Королевского Величества, каждый из вас будет осужден на два года тюрьмы и тяжелых работ.

Уайльд стоял совершенно неподвижно, на белых его руках, опиравшихся на барьер, темнели синие жилки. При последних словах судьи он дернулся, пурпурным заревом кинулась в лицо кровь, глаза раскрылись так широко, будто сейчас выскочат из орбит. Он протянул правую руку в сторону судьи.

— А я? А я? — воскликнул он.— Могу ли я что-нибудь сказать, милорд?

Судья отрицательно махнул рукой. Уайльд исчез в боковых дверях, уведенный тюремными стражами.

На улице у Олд-Бейли еще с полудня собралась большая толпа. Возбуждением ожидавших пользовались агитаторы, произнося речи в связи со скорыми выборам и — на конец июня был назначен роспуск парламента. Впрочем, сейчас это мало кого интересовало, улицы были усеяны листовками, которых никто не читал. В редкие минуты тишины слышались цитаты из Библии, оглашаемые хриплым голосом уличного проповедника. Группа членов Общества трезвости, протискиваясь сквозь толпу, ходила взад-вперед с прибитой к шесту грубо намалеванной картиной: Оскар Уайльд в окружении бутылок с различными напитками, а внизу надпись, призывающая к воздержанию.

Наконец наступили сумерки, из-за темных, мрачных домов здесь они сгущались особенно быстро, и толпа стала похожа на унылое серое месиво. Из коридора уголовного суда донесся вой — известие о приговоре дошло до стоявших у входа. Те, кто пришел сюда из ненависти к тонкому белью и хорошо скроенному костюму, объединились в общем ликовании с теми, кто ненавидел новую мысль и непривычную музыку слов. Ругали аристократов. Мужчины, покатываясь со смеху, обнимались, потом отскакивали в стороны и принимались тузить друг друга кулаками. На мостовой, выбрав место посвободней, проститутки, взявшись за руки, образовали большой круг — они плясали, прыгали, извивались как сумасшедшие. Им аплодировали. Толпа, не сдерживаемая спокойными, улыбающимися полицейскими, двинулась через Лудгейт на Флит-стрит и Стренд и там стала

шуметь под окнами редакций.

Экипажи, оттесненные толпою на Флит-Лейн, вернулись к зданию суда. В один из первых сели Альфред Вуд и Чарлз Паркер. Вуд, стоя на подножке, вдруг рассмеялся:

— Ах ты, Гиацинт!

И всей ладонью ударил Паркера по спине.

VII

Его повезли в тюрьму Уэндсворт.

Хотя было очень рано, на улице собралось немало народу. Поношенная одежда плохо сидела на людях, прежде не встречавшихся в этом пригородном районе. Светские дамы взяли платья у своих горничных, многие джентльмены выглядели так, будто наряжались у старьевщиков. Всех, однако, ждало разочарование — плотно закрытая карета с узником въехала, не останавливаясь, в ворота, которые тотчас заперли.

Начальник тюрьмы выслушал рапорт стражников, проверил бумаги и поставил на них номер камеры. Следуя за смотрителем, Оскар Уайльд прошел в длинный коридор, неся в руке узелок. В узелке были вещи, в которых он отныне должен был ходить. Весь кошмар последних дней вылился в этот ужасающий факт — ему придется надеть одежду, которую кто-то уже носил. Может быть, все же позволят иметь собственную сорочку? Как часто можно будет ее менять?

Перед ним открылся полумрак какого-то помещения, воняющего помоями. Приказали раздеться. В углу он увидел продолговатое углубление в полу, наполненное темной водой с белыми пузырьками мыла. Несколько секунд он стоял, не двигаясь. Двое верзил, стоявших за его спиной, стащили с него сюртук. Сорочку, брюки он уже снял сам, дрожащими пальцами стягивал с себя белье, наконец, совершенно голый, отошел на середину комнаты. Его толкнули, и он, поскользнувшись, упал в бассейн. Раздался плеск от падения грузного тела и одновременно долгий, жуткий вопль. Не в силах удержаться за скользкие стенки бассейна, он то и дело окунался в воду, мерзкая жидкость вливалась в рот, а когда наконец голова вынырнула на поверхность, его бурно стошнило. Верзилы со смехом вытащили его и бросили ему мокрую тряпку, чтобы обтерся.

Одетый в тюремный тиковый костюм с черными полосами, Уайльд вошел в свою камеру. В полдень далй обед: суп из кукурузной муки и кусок черного хлеба. Он ни к чему не притронулся. Весь день его не тревожили. Он лежал на дощатой койке без тюфяка и в течение ночи несколько раз видел фонарь надзирателя, вспыхивавший в проеме открывавшейся двери. Но вот на стене обозначилась тень оконной решетки — знак того, что где-то уже пробивается страшный свет дня.

— Кто там ?— крикнул Уайльд, услышав лязг замка, но увидел на пороге стражника и спохватился, что у него ведь нет права иметь свой ключ или задвижку.

Тюремный день начинался мытьем пола и чисткой утвари. Потом работа: надо было раздирать пеньковые веревки на паклю, твердые, пропитанные смолою веревки, от которых ломались ногти, деревенели и кровоточили пальцы, или шить мешки, или безостановочно вертеть рукоятку блока, поднимавшего воду из колодца, или, накинув лямку, вращать жернов, моловший зерно. Один час в сутки был отведен для прогулки — несколько десятков узников медленно описывали большой эллипс, обходя тюремный двор. В пять часов дня — хлеб и кружка воды, после чего камеру запирали на ночь.

Во время первой прогулки позади него послышался шепот. Это был тот пронзительный шепот, которым объясняются между собою узники, не открывая рта, резкий шорох слов:

— Кто бы ожидал встретить в таком месте Короля жизни?

Оскар вздрогнул, но не обернулся. Только еще больше сгорбился. Король жизни! Право же, нет ничего забавного в таком прозвище, особенно когда это нечто большее, чем обычная, мимолетная шутка. Он не обернулся, потому что не был уверен, что это голос идущего за ним человека. Голос ведь вполне мог исходить и из ада. Невероятное перестало быть таковым, с тех пор как произошло столько невероятного.

Он жил как в бреду, скорее угадывал, чем слышал, что ему говорят, внезапно срывался с места, бежал, расталкивая других узников, всегда охваченный страхом, что недостаточно быстро двигается, недостаточно быстро улавливает мысли надзирателей. В этом беспокойстве, конечно, была большая доля чисто физического страха, но оно еще сгущалось, становилось неодолимым из-за безумного, суеверного ужаса, ужаса перед чем-то куда более грозным, чем смерть, более сокрушающим, чем убийство. Теперь все казалось возможным. Он не верил, что кто-либо вспомнит о нем, если его убьют. Ни одна весть о нем не выйдет из этих стен, а впрочем, никто по ту сторону и не ждет этой вести. Будто некий дальнобойный снаряд отшвырнул его далеко за пределы мира, и трудно поверить, что после семисот тридцати дней механизм обратного действия закинет его опять на то же место, на перекресток тех же улиц, в круг знакомых лиц и взглядов.

Тогда все это было бы лишь игрой страшных сновидений, но изо всех мест на земном шаре сырой этот погреб, обнесенный высокою оградой, пожалуй, наименее пригоден для причудливых снов.

Ночью жестокая усталость сковывала его тело, и на несколько часов он забывался сном. Но потом глаза открывались в непроглядной тьме, и он не мог сомкнуть их до самого утра. Он

страдал. Страдал из-за растоптанных суетных стремлений, страдал, как человек некогда счастливый, как денди, поэт, эпикуреец, страдал телом, мозгом, воображением. Человек, представлявший себе трагедию всегда в пурпурной мантии и в маске благородного горя, дергал на себе тюремную блузу, пропитанную чужим потом, царапал ногтями бритую голову в неутолимом желании смерти. Помышляя о самоубийстве, он обследовал четыре голые стены с рвением человека, надеющегося обнаружить потайные дверцы, за которыми спрятано сокровище. Но не нашел ничего. Даже куски веревки, которые ему приходилось разрывать, были слишком коротки, чтобы сделать из них петлю. И день и ночь надо всем царили слезы. В тот день, когда на глазах не выступали слезы, он чувствовал, что сердце в нем окаменело. Душа его облеклась в жесткую неподвижность, будто некую власяницу, из вечной тьмы сотканную. Время перестало идти. Сплошным серым колесом оно вращалось вокруг постоянно неутихающего страдания.

Голод заставил Уайльда есть тюремную пищу. Суп вонял той мокрою тряпкой, которой он обтирался после купанья. Когда желудок уже настолько привык, что не было рвоты, началась непрекращающаяся диарея. Полное экскрементов ведро ночью не разрешалось выливать, и оно отравляло воздух тесной, низкой камеры. Закрепляющие средства, которые ему давали три раза в день, не помогали.

Он похудел, ослабел и все хуже исполнял свою работу. Его стали наказывать за лень. Несколько раз са жали в карцер. В какое-то воскресенье он не смог подняться с койки. Надзиратель советовал ему встать.

— Не могу,— ответил он.— Делайте со мною, что хотите.

Пришел врач. Тюремный хирург не признавал болезней менее тяжких, чем перелом ноги. Уже с порога он начал кричать:

— Встать! Нечего притворяться. Вы здоровы, вас только надо наказать за неповиновение.

У Уайльда не было сил даже для отчаяния, которое иногда заменяет подлинную смелость. Он встал и как бы на ощупь оделся. Кое-как добрался до часовни, где уже началась служба. Он шатался, в глазах все шло кругом, наконец настала полная темнота.

Очнулся он с ощущением резкой боли в правом ухе. Но сразу же о ней забыл — то, что он увидел, казалось прекрасным сном, и только присутствие стражника поддерживало впечатление реальности. Он лежал в просторной, светлой палате, лежал на кровати, укрытый одеялом с пристегнутой внизу белой простыней. От его руки, покоившейся на краю простыни, от

пальцев ног, прикасавшихся к свежему выстиранному полотну, от чистоты и мягкости постели разливалось по телу невыразимое наслаждение. Невольно улыбнувшись, он заметил добрый взгляд больничного служителя.

— Прошу вас чего-нибудь поесть.

Этот человек подал ему ломоть белого хлеба с маслом. Уайльд расплакался. Когда служитель ушел, он собрал рассыпавшиеся по одеялу крошки и, увидав, что несколько крошек упало на пол, перегнулся из постели и все их собрал.

Закончился первый квартал. Надзиратель принес ему Библию и сказал, что с этих пор он будет получать по одной книге в неделю. Это было большим счастьем. В первый день он сразу прочитал половину Пятикнижия, но потом стал бережливее, позволял себе лишь с десяток, а то и меньше, страниц, опасаясь, что надзиратель мог ошибиться и принять квартал или месяц за неделю. С первых же страниц, с рассказа о яблоке, грехе и рае удивило сходство с его собственной историей, и отныне в каждом персонаже, в каждом событии, в гневе пророков и в плаче псалмов он находил какие-то черточки своей жизни, пусть даже некий невысказанный шепот души. Он не дошел еще до половины Екклезиаста, как неделя прошла и он получил новую книгу. По переплету он понял, что она не из тюремной библиотеки. Это был роман Уолтера Патера «Марий-эпикуреец».

— Господин, который принес книгу,— сказал надзиратель,— ждет в зале свиданий. Начальник разрешил десять минут разговора.

Отводя Уайльда через четверть часа обратно в камеру, надзиратель мог подумать, что ведет сумасшедшего. Уайльд ежеминутно закатывался пугающим смехом. Невозможно было смотреть на это обросшее, истощенное лицо, на расширенные, налитые кровью глаза, на разорванный смехом рот с выщербленными, гнилыми зубами. Надзиратель присутствовал при разговоре, и ему было непонятно, что такого потрясающего могло содержаться в осторожных словах молодого адвоката. Самые обычные вопросы да несколько фраз о денежных делах. Поведение узника вызывало беспокойство. Уходя, надзиратель невольно запер камеру на замок.

Разговор действительно был с виду совершенно обыкновенный. Лишь под конец посетитель, делая вид,, будто читает какой-то документ, сказал:

— Принц Флер де Лис просит напомнить вам о себе.

Уайльд посмотрел удивленно, он не понял.

— Этот господин теперь за границей,— повторив предыдущую фразу, уточнил адвокат.

И упомянул Неаполь, виллу, книжку стихов. Все сразу стало ясно. Уайльд засмеялся — впервые со дня приговора. «Принц Флер де Лис»! Можно умереть со смеху. «Принц Флер де Лис» напоминает о себе человеку, у которого вместо имени номер его камеры, одной из тысячи в длинных галереях тюрьмы. Когда ему запрещены любое слово, самая обычная фраза, которую может себе позволить последний нищий, кто-то издает книгу стихов и, возможно, вдохновляется воспоминаниями о странной, злополучной дружбе. «Этот господин теперь за границей». И, словно безумный его смех обладал разрушительной силой, по камере, чудилось, прошла буря: рассыпались темные своды, сырые стены и открылся широкий вид на просторы моря, в котором купались белые дома Неаполя. Взгляд ввинчивался в их гущу, пахнущую свежим, теплым воздухом, искал знакомые крыши, фасады, ворота, чтобы среди них обнаружить ту единственную виллу, которая, верно, сгорела бы-, достигни до нее убийственная, как молния, ненависть.

Три месяца Уайльд не думал о Дугласе. И вдруг «принц Флер де Лис» сам напомнил о себе омертвевшей памяти.

Когда-то в далекие, баснословные времена октябрь сеял золотую листву. Большие лапчатые кленовые листья покачивались в воздухе с осторожностью опускающейся на землю птицы. Слова леди Куинсберрн звучали спокойно, мягко. Он не понимал, что она говорит,— с изумлением смотрел на пышную красоту, на миловидное, почти девичье лицо этой женщины, за плечами которой было сорок с чем-то лет и множество несчастий. Он удивлялся, откуда такое великолепное спокойствие у дочери буйной семьи Монтгомери оф Эглин тон, особенно при описании характера ее третьего сына.

— Вы его не знаете, — говорила она.— Бози вспыльчив, он, возможно, способен на жестокость. Очень тщеславен. При этом есть в нем что-то, что я назвала бы отсутствием сознательности в денежных делах. Тут он просто невменяем. Я тревожусь (какая тревога могла быть в этом существе, чье присутствие умиротворяло, словно бы вместе с листьями в этот осенний день упал на землю кусочек неба?), я тревожусь, что ваша дружба разобьется, натолкнувшись на эти недостатки.

— О миледи,— засмеялся Оскар,— тщеславие для молодого человека — нечто вроде прелестного цветка, который он может носить вполне непринужденно, особенно если зовется «лорд Дуглас». А то, другое,— право, не знаю: рассудительность и бережливость — это добродетели несвойственные ни моей натуре, ни моей нации.

Октябрьский этот день в Брэкнелле оттеснили другие

воспоминания, и Оскар вдруг увидел Альфреда так отчетливо, что боялся шевельнуться на койке,— как бы н? кинуться на него и не схватить за горло. В ушах звучал его голос, виделись движения нервных рук, вновь послышались тщательно, будто по капле отмеряемые, слова за весь долгий срок в три года. В памяти ожили улицы и переулки, по которым они ходили вместе, шум воды, дыхание леса, порывы ветров, игра облаков,— все, что некогда сопутствовало их дням, возвратилось так явственно, что он видел даже положение стрелок на часах, отмеряющих время для них обоих. Поток страдания, который доныне неутомимо вращался вокруг скованного параличом ума, впервые метнулся в сторону, мчась к устью, пугающему сверканьем солнца и свобо ды. За одну эту ночь Оскар прошел все ступени отчаяния, бешенства, горечи, возмущения, судорожных рыданий страха и безмолвной муки.

Пришедший поутру надзиратель попятился, будто увидел упыря. Из угла глядела на него пара безумных глаз.

— Ваша жена пришла вас навестить.

В зале свиданий стояли две железные клетки, в нескольких метрах одна от другой. В проходе между ними стали два надзирателя. Когда за прутьями окошка противоположной клетки появилось лицо, до половины прикрытое красным платком, так что видны были только нос, блестящие глаза да полоска лба под серой шапкой, м-с Уайльд спросила:

— Это ты, Оскар?

Ей отвечал голос, которого она никогда не слышала.

— Я убью его, убью,— кричал он.— В тот же день,

когда отсюда выйду, в тот самый день, когда его увижу, я убью его, как собаку!

На часах, которые надзиратель держал в руке, прошло пять минут, пока узник только кричал со слезами на глазах.

— Говори громче,— успокоившись, сказал он и повернул голову левой стороной к окошку.— Я не слышу, что ты говоришь.

Миссис Уайльд ничего не говорила. Опять какое-то время прошло в молчании.

— А Сирил, что делает Сирил?

Она начала говорить о сыновьях — сперва о Сириле, потом о Вивиане, слова вырывались беспорядочно, смешиваясь со слезами. Надзиратель спрятал часы в карман.

— Оскар!

Окошко в противоположной клетке было пусто.

13 ноября 1895 года Уайльда перевозили из тюрьмы

Уэндсворт в Рэдинг. На станции Клэпхем пришлось полчаса ждать пересадки. День был ненастный. Оскар стоял под дождем,

на руках у него были наручники. Люди останавливались поглазеть иа арестанта. Судя по странному, пугающему выражению лица, предполагали, что это крупный преступник. Конвоиры на вопросы не отвечали. Подошел поезд, и из числа пассажиров выделилась новая кучка любопытных. Какой-то джентльмен остановился, потом хотел было уйти, но опять вернулся, перехватил взгляд узника и, подойдя поближе, плюнул ему прямо в глаза.

— Это Оскар Уайльд! — выкрикнул он.

Толпа зашевелилась и обступила Уайльда более плотным кольцом. Посыпались издевки, брань, насмешки. Конвоир взял его под руку и отвел в глубь вокзала. Толпа последовала за ним и стояла, пока поезд не увез его с их глаз. Долгое время Уайльд каждый день в два часа пополудни плакал, вспоминая те полчаса, проведенные на станции Клэпхем.

В Рэдинге правил жестокий майор Айзексон. На протяжении долгой тюремной службы, которую он прошел от низших ступеней до поста начальника, он приобрел обширные познания во всем, что требуется, дабы расширять, углублять, продлевать страдание человека и причинять смерть. А смертью он занимался немало — ему чаще, чем кому-либо другому, поручали осужденных на казнь. Это был один из тех преступников, которым, по странной случайности, дана возможность ежедневно совершать преступления с полной безнаказанностью и под прикрытием закона. Никогда не покидая зубчатых стен своей крепости, будто в убеждении, что за ними кончается его безопасность, он нажил желтизну лица, бескровные руки с синими жилами и неизлечимый ревматизм, лишь разжигавший его природную злость при каждом взрыве бешенства.

Однажды надзиратель, явившись в камеру Уайльда в необычную пору, приказал ему снять башмаки и выйти в коридор.

— Зачем? — спросил Уайльд.

— Стоять здесь, лицом к стене! — рявкнул надзиратель.

Узник дрожал от холода и страха. Переступая с ноги на ногу на леденившем ступни каменном полу, он пытался угадать, какое наказание ждет его. Но больше, чем наказания, боялся он оглянуться назад. Когда же наконец, после целой мучительной вечности, услышал шаги надзирателя, он замер в неподвижности. Надзиратель швырнул на пол пару башмаков.

— Назад, в камеру!

Таким манером майор Айзексон выдал своему арестанту новые башмаки.

Каждые несколько часов тишину нарушали внезапные вопли. Изо всех камер им отвечал подавленный стон. Чудилось, будто

несколько сот узников, друг от друга отделенных, ничего один о другом не знающих, образуют единое тело, сосредоточенно и чутко все воспринимающее. Кого-то наказывали розгами, длину и толщину которых м-р Айзексон давно уже высчитал и которые он всегда собственноручно нарезал из свежих березовых веток. «Раз, два, три, четыре»,— считали в камерах, и все сердца стучали сильнее при каждом изломе минутной тишины.

Раз в полтора месяца приходил тюремный капеллам. Преподобный М.-Т. Френд после сорока лет службы перестал быть другом людей. Он любил животных: цепных собак и птиц в клетках. Тюремные правила не разрешали держать собак на цепи, поэтому он держал черных и простых дроздов да канареек; две его комнатки, увешанные большими железными клетками, были как бы тюрьмою в тюрьме. Еще издали слышался но коридорам свист его астматического дыхания, а когда он входил в камеру, полагалось стоять смирно в углу и отвечать «да» или «нет». Вопросы касались раскаяния, молитвы. Потом шло несколько цитат из Библии. Через несколько минут пастор удалялся, оставив трактат или брошюру, каковые в несметном количестве доставлялись всяческими благочестивыми обществами. На пороге он еще оборачивался и напоминал узнику, что первый долг— научиться терпению. Однажды Уайльд не выдержал.

— Я могу быть терпеливым,— сказал он,— поскольку терпение — это добродетель. Но здесь требуют от человека апатии, апатия же является грехом.

По воскресеньям ходили в часовню. Этим рабам скорби не разрешалось даже спрятать лицо в руках. Полагалось стоять как можно прямее и смотреть на алтарь, не опуская век. Кто склонит голову, тому стражник поднимал ее ударом кулака. В проповеди говорилось о счастье. Счастье заключалось в том, что преступник живет в христианской стране, где заботливое правительство печется равно о благе его души, как и о безопасности его грешного тела, дозволяет ему защищать себя перед судом, а затем открывает пред ним тюрьму, которая, подобно чистилищу, избавляет его от пороков.

Такие царили здесь порядки, к которым в конце концов приходилось привыкнуть. Невыносимы были всякие неожиданности, и худшая из них — инспекция. Приезд какого-нибудь сановника предвещало за несколько дней усиление строгостей. Били чаще и безжалостнее. Начальник тюрьмы делал обход камер, подчиненные, выказывая усердие, свирепствовали, для провинившихся не хватало карцеров.

Уайльд получал каждую неделю по книге из тюремной библиотеки, других м-р Айзексон не разрешал. Книги были

грязные, потрепанные — под стать содержанию. Сперва Оскар их читал, потом и к этому остыл, только с жадностью ждал конца квартала, когда приходило письмо от Роберта Росса. Там всегда было с десяток страниц, интересно и остроумно написанных,— о современных писателях, о литературной жизни, о книгах. Узник не имел права сам получать письма, его вели к начальнику тюрьмы, и тот их читал ему. М-р Айзексон за целый год не произнес бы столько слов, сколько было в каждом письме Росса. Однако он исполнял свой долг до конца, только через часок-другой Уайльда бросали в карцер или давали ему испытать гибкость и крепость березовых розог.

Теперь Оскару труднее было справляться с тишиной, чем прежде — с шумом. Но он научился просеивать ее, будто бессчетное количество одинаковых, круглых, беззвучных зерен. Ну какой может быть шум от туфель из толстого, мягкого войлока, ступающих по хорошо пригнанным каменным плитам? А ему все же удавалось уловить осторожные шаги надзирателя, он слышал, как тот приближается из глубины дальнего коридора, и за несколько секунд заранее угадывал, когда засветится фонарь в дверной щели.

Он жил ныне самим собой, питался собственной субстанцией, как животные, спящие всю зиму в тесном одиночестве. Когда для него уже было утрачено все прекрасное и блестящее, чем он некогда обладал,— отчаяние, подобно пламени, быстро все это пожрало,— остались еще какие-то крохи, жалкие, никчемные в своем убожестве. Вдруг слышался ему плач младенца, плач второго его сына, Вивиана, так напоминавший в первые дни кваканье лягушки, что, когда он, бывало, ночью слышал этот звук, зубы стискивала судорога бешенства. Или вспомнится стук повозок, проезжавших за час до рассвета по Тайт-стрит,— они когда-то будили его своим грохотом, он слышал проклятия возниц, щелканье бичей,— а теперь в горле пересыхало при мысли о том, какое было бы счастье опять услышать это ночные шумы и опять, как прежде, почувствовать надежность замкнутой комнаты, ласку закрытых темными шторами окон, доброту постели, в которой он так легко снова обретал прерванный было сон.

С наступлением дня просыпался его единственный товарищ — муха, которую ему удалось запереть в своей камере.

Посещения друзей приносили вести из мира и изрядную толику горечи. У кого была записка из министерства, тому разрешался разговор в отдельном помещении. За тем же столом сидел надзиратель и пристально смотрел на руки — не принес ли гость чего-нибудь подозрительного. Голубым или красным

платком Оскару едва удавалось прикрыть обезображенное лицо. С каждым разом все больше виднелось седых волос. Незалеченное правое ухо кровоточило. Разве не дают здесь хотя бы клочка ваты? С.3.3. на такой вопрос не отвечал. Он уверял, что все надзиратели к нему добры, и прикрывал глаза, чтобы взгляд не выдал.

Ходить с опущенной головой стало теперь столь же естественно, как прежде было держать ее прямо и смело смотреть вперед. Однажды, воротясь в камеру, он заметил у ее двери нечто, чего раньше не видел, но что, вероятно, всегда там было: табличку с номером камеры и с его фамилией, на ней ежедневно записывали замечания о поведении узника. Но удивительней всего была дата — четко написано «март». На полуденной прогулке он заметил над высокой стеной ограды верхушки нескольких деревьев. Ветки были черные от сажи. Но кое-где на них проглядывала зелень. Над деревьями, вверху, плыли облака. Он опустил глаза, словно устыженный видом этой дерзновенной свободы.

То был день необычных происшествий. После обеда Уайльда вызвали к начальнику тюрьмы, который дал ему чернила, перо и лист бумаги с надписью: «Ее Королевского Величества тюрьма в Рэдинге».

— Можете написать письмо. Если будете себя хорошо вести, получите в свое время другой лист.

Узник нес листок бумаги, как святое причастие. Придя в камеру, он положил бумагу на застилавшее койку грубое шерстяное одеяло и накрыл платком. Остаток дня и всю ночь он раздумывал, кому написать первому. В памяти теснилось несколько десятков имен, множество фраз, дел, вопросов, из которых надо было выбрать самую достойную особу и самое важное дело. На другой день первые утренние часы ушли на мытье пола и чистку посуды.

— Я пришел за письмом,— сказал надзиратель.— Начальник приказал вернуть перо и чернила.

Уайльд испугался.

— Сейчас отдам,— забормотал он.— Через час.

— Я вернусь через четверть часа.

С.3.3. посмотрел на руки, они были грязны. Он кинулся к койке, стащил с нее одеяло и, опустившись на колени, начал писать. Писал он Роберту Россу. Прежде всего о жене, потом благодарил за постановку «Саломеи» в Париже, наконец перо прорвало бумагу, и капля чернил расплылась длинной кляксой. «Боюсь, тебе будет трудно это читать, но мне ведь не разрешают здесь иметь ни пера, ни чернил, и я чувствую, что разучился

писать,— ты уж меня извини». Теперь надо перевернуть листок. На другой стороне ряды букв проступали жирными синими полосами. С почти болезненной осторожностью он стал писать в просветах, прислушиваясь к каждому шороху в коридоре. Из составленного ночью текста ничего не осталось. «Ответь мне, пожалуйста, сразу же на это письмо, расскажи о литературе, о новых книгах и т. д.— также о работах Джонса, о том, как Форбис-Робертсон руководит театром, о всех новых замыслах на сценах Парижа и Лондона. Постарайся узнать, что говорят Лемэтр, Бауэр и Сарси о «Саломее».

Несколько дней спустя майор Айзексон читал узнику ответ Росса. Чтение продолжалось долго. Один раз он прервал на середине фразы и с минуту смотрел на Уайльда. Пауза была сделана в том месте, где Росс описывал восторги французской критики по поводу постановки «Саломеи» режиссером Люнь По в Театр дель Эвр. Видно было, что взгляд этот, меривший узника вдоль и поперек, тщетно пытается его исхудалую фигуру, облаченную в нелепый тиковый костюм, вставить в образ далекого волшебного Парижа, увидеть его среди позолоты и плюша театра, среди великолепия нарядных, благоухающих женщин. Майор Айзексон с досадою отвернулся от этого видения и единым духом закончил читать письмо. Он удивился, что Уайльд не двигается с места.

— Я хотел просить...

— Бумаги? Нет. В первом письме мне пришлась вырезать целый абзац. Вы жалуетесь на тюрьму. Это недопустимо.

Приближался к концу первый год заключения. Уайльда ободряла надежда, что оставшийся срок наказания отменят. Друзья усердно об этом хлопотали. Фрэнк Харрис встретился с председателем тюремной комиссии. Сэр Ивлин Рэглс Брайс сверх ожиданий выказал большое сочувствие. Но когда пришел отчет из Рэдинга с довольно длинным перечнем нарушений, допущенных С.З.З.,— конечно, одни пустяки: не соблюдает молчания, камера плохо убрана, утром опаздывает,— он заявил, что при таком положении вещей нельзя обращаться к министру. Он бы советовал подать петицию с подписями известных писателей, ученых, артистов. Достаточно будет двенадцати, даже десяти, только бы во главе стоял кто-либо действительно знаменитый, например, Мередит.

Мередит отказался. Вслед за ним — десять других Остался только Шоу, который слишком мало значил, чтобы помочь, но достаточно, чтобы повредить. После двух недель беготни Фрэнк Харрис убедился, что во всей Англии не найти нескольких выдающихся людей, которые бы признали, что следует убавить

хотя бы полгода тюрьмы писателю, осужденному на два года тяжкого заточения. А прерафаэлит Хант, создатель знаменитой картины «Свет света», на которой Христос стучится в запертые двери, ответил, что, по его мнению, «правосудие поступило с О. У. чрезмерно милостиво».

Между тем было издано распоряжение, что те, кто отбывает тюремное наказание в первый раз, должны носить звезду на шапке и на тюремной блузе. Майор Айзексон не мешкая объявил об этом своим узникам.

— Это для различения,— прибавил он в конце.— Рецидивисты должны держаться от них подальше. Однако распоряжение это вступает в силу лишь с сегодняшнего дня и обратного действия не имеет. Те, кто здесь находится уже давно, останутся в обычной одежде.

Отныне всякий раз, когда по коридору проходил «звездный», С.З.З. должен был останавливаться и поворачиваться лицом к стене.

В середине июня Оскар Уайльд на обычной дневной прогулке заметил в другой половине двора узника, сопровождаемого конвоиром. «Новичок» был рослый мужчина со спокойным, светлым лицом, он то и дело поднимал голову и тут же опять опускал ее и на несколько секунд задумывался. Шел он удивительно легко, все время на несколько шагов впереди конвоира, н явственно слышался скрип песка под его сильными, гибкими ногами. Кто-то шедший позади Уайльда прошептал:

— Будет в петле болтаться.

Из перешептываний арестантов постепенно удалось узнать все.

Чарлз Томас Вулдридж, солдат королевской конной гвардии, перерезал горло своей жене, Лауре, на дороге между Виндзором и деревней Клюэр. Его осудили на казнь через повешение, приговор должны были привести в исполнение через три недели.

День за днем он выходил во двор в одно и то же время, и не раз случалось ему поравняться сошедшим в шеренге С.З.З., однако глаза их никогда не встречались— два корабля, проходящие один мимо другого в непроглядной тьме. Уайльд обвил его своими мыслями, вобрал его образ в себя вместе с тайною того, что он совершил, и того, к чему шел таким легким, беззаботным шагом. Но однажды Вулдридж на прогулке не появился. Это было 6 июля. Взгляды всех были обращены в сторону сарая, где обычно фотографировали арестантов. Рядом с сараем темнела свежая яма. Небольшим желтым холмиком высилась выброшенная из нее глина. Бледные, взволнованные узники безмолвно проходили мимо. Уайльд, вынося под вечер

свое ведро, наткнулся в коридоре на человека с дорожным мешком, который скрылся в дверях канцелярии.

Во вторник, 7 июля 1896 года, все камеры были вымыты еще до шести утра. Но в семь их опять заперли, и лишь через глазок в двери можно было видеть надзирателей в парадных мундирах. Прошли по коридору хирург Морис и шериф Бленди, после чего с сильным стуком закрылись ворота тюремного двора. Воцарилась тишина. В семь часов сорок пять минут начал звонить колокол церкви святого Лавра, узника и мученика. После четверти часа колокольного звона произошло то, что обычно происходит: палач связал осужденному ноги у щиколоток, набросил на глаза черный платок и выдернул из-под ног подставку. Судорогой, пробежавшей по всему телу, Уайльд ощутил тот миг, когда ступни кавалериста потеряли опору и повисли в пустоте. Колокол замолкнул, на крыше тюрьмы подняли черный флаг в знак того, что правосудие свершилось.

Камеры отперли только в полдень. Во дворе было жарко от июльского зноя. Подле сарая земля была взрыхлена и валялось несколько комков негашеной извести. Девять раз в течение часа прошел Уайльд мимо этого места. Шаг-другой, и оно уже позади. И каждый раз он видел — лишь он один видел — все, как есть, до самого желтого дна ямы, залитой асфальтом. Видел голое тело, прикрытое едким известковым саваном, видел руки в наручниках, синюю распухшую шею и выкатившиеся глаза. И он удивлялся, что там не было креста, который некогда ведь стоял между двумя разбойниками.

Теперь он был ближе к небу, с тех пор как видел лишь малый его клочок над тюремным двором, с тех пор как спустился в такие бездны человеческой жизни, из которых в полдень видны звезды. Он действительно чувствовал себя последним из последних. Несколько месяцев назад умерла его мать. Жена сменила фамилию, закон отнял у него детей. То был страшный удар. К концу долгой, заполненной слезами ночи он упал на колени:

— Тело ребенка подобно телу господню. Я недостоин ни одного, ни другого.

Состояние его души было ему непонятно. Минутами он верил, что ничто в мире не лишено смысла, тем паче страдание, и устремлялся к религии, но потом возвращался вспять и с глубоким разочарованием глядел, как то, что казалось благодатью, улетучивалось бесследно. Оставалась только тревога. Но тревога не могла слишком долго жить в человеке сломанном и смертельно измученном. Тревога — это всегда какой-то, пусть небольшой, остаток сил и жажда борьбы. Оскар уже не хотел бороться. Он покорился.

И тогда он нашел истинное сокровище, о котором никогда бы не догадался прежде: смирение. Он укрыл его в своей душе, словно то было семя новой жизни.

Как-то раз в эти дни шедший позади него узник прошептал:

— Мне жаль вас, Оскар Уайльд, вы должны страдать больше нас.

Потребовалось невероятное усилие воли, чтобы не обернуться на этот неожиданный голос сочувствия. Молчать, однако, было неприлично. И он тоже шепотом ответил:

— Нет, друг мой, мы все страдаем одинаково. Надзиратель заметил их разговор.

— С.3.3. и С.4.8., выйти из шеренги.

Допросив каждого отдельно, начальник тюрьмы не знал, кого наказать строже: каждый признавался, что это он первым нарушил молчание. В конце концов обоих наказали двумя неделями карцера.

Уайльд вышел из карцера преображенным. Он больше не думал о самоубийстве, желание смерти оставило его.

Нежданно-негаданно он узнал, что кто-то думает о нем, кто-то, с кем он незнаком, кто-то, для кого он лишь страдающее существо, и — более того — узнал, что может отплатить тем же. В простом факте, что два человеческие существа в порыве жалости склонились друг к другу среди всей этой скорби, казавшейся неотвратимой, можно было почерпнуть уверенность, что не все напрасно, что есть силы, способные очистить душу мира от жестокости и злобы. До сих пор — кроме тех мгновений, когда слово, жест, выражение лица посещавших его друзей показывали ему, что еще не все нити порваны между ним и жизнью,— за весь долгий срок тюремного заточения не было ни единого часа, подарившего ему сочувствие. Й именно оно оказалось теперь единственной точкой опоры для всего распавшегося его бытия.

С той поры, когда он разделил свое страдание с толпою серых братьев, ему чудилось, будто сердце его расширилось, будто свежая сила оживила его воображение. Не означало ли это приближения к Христу, чье воображение было стойко и всепроникающе, как огонь? Христос понимал проказу прокаженного, слепоту слепого, жестокую алчность тех, кто живет для наслаждения, понимал особую нищету богача.

В это время у Уайльда было несколько книг. Софокл, Данте, немного современной поэзии. Все это он забросил ради Евангелия на греческом языке, которое прислал ему Росс. Каждое утро, покончив с уборкой камеры и чисткой посуды, в которой приносили пищу (он гордился, когда удавалось довести до блеска облезлое олово), он читал отрывок из Евангелия, десять —

двенадцать стихов. Греческий язык возвращал непостижимую свежесть словам, которые в проповедях пасторов покрылись плесенью. Как будто выходишь из тесного, темного дома в цветущий лилиями сад. Он верил, что Христос говорил по-гречески, что он слышит подлинное звучание Его слов, и с наслаждением думал, что Хар мид мог бы Его слушать, Сократ мог бы с Ним спорить и Платон мог бы Его понять. Он изумлялся тому, что из дома назаретского плотника вышла личность бесконечно более великая, чем любая из созданных мифом или легендой, личность, чьим предназначением было открыть миру мистический смысл вина и красоту полевых лилий, открыть такими средствами, которых не ведали ни в долинах Киферона, ни на лугах Энны.

Этот путь, однако, вел Уайльда не выше, чем на какой-нибудь приятный холм, озаренный светом луны, овеваемый ароматами цветущих долин. Не было никаких признаков того, что теперь он больше, чем когда-либо, мог ожидать помощи от религии. Вера, которая других ведет к незримому, у него всегда останавливалась на вещах, доступных зрению и осязанию. Чем беднее становилась действительность, тем слабее была его вера — разумеется, вера в мир. Его отношение к религии никогда не достигало большей глубины, чем в то время, когда у него появилась мысль основать Братство неверующих с особым культом: пред алтарем, на котором не горит ни одна свеча, священник с не ведающим покоя сердцем будет служить мессу над неосвященным хлебом и кубком без капли вина. Мысль эта возникла в Рэдинге.

Изведав смирение, узнав сочувствие и, наконец, вступив в общение с греческим текстом Евангелия, оживившим его увядшую восприимчивость к прекрасному, Оскар Уайльд все же преобразился. В душу его вошло немного света. Новый надзиратель галереи С., Мартин, познакомился с ним уже как с человеком, которому не чужда улыбка.

Когда Мартин впервые открыл дверь камеры, узник стал спиною к нему. Надзиратель сказал «добрый день», и тогда на него глянуло лицо, на котором улыбка побеждала удивление. Трудно объяснить, сколько ласки могут вместить эти два слова, которые на всем белом свете говорят и повторяют с та.ким равнодушием! Приветствие это было столь неожиданным, что Уайльд ничего не ответил, лишь стоял в недоумении, пристально глядя незнакомцу в глаза. С минуту оба они смотрели друг на друга, и это было началом их приятельских отношений.

Не без влияния друзей Уайльда мрачный Айзексон ушел из Рэдингской тюрьмы, и его место занял степенный, добродушный майор Нельсон. С.З.З. узнал об этом когда ему принесли сенник,

весьма убогий на взгляд людей по ту сторону тюрьмы, но для человека, пролежавшего несколько сот ночей на твердых досках, то был почти предмет роскоши. Он получил также книги, бумагу, перо, чернила. Стол соорудил себе сам, кладя свою дощатую койку на два табурета, Ему разрешили по вечерам иметь свет, маленький газовый огонек. Все свободное время он писал. Ради одного наслаждения пользоваться пером переписывал целые страницы итальянского издания Данте. Огрубевшие, изувеченные пальцы обретали утраченную гибкость.

Он был в упоении. Острием стального пера он пропахивал борозду нового творчества. От нее шел запах вещей неведомых и близких, форм, картин, мыслей, целого рождающегося мира, которому не хватает лишь слов для жизни,— тот бесподобный запах, что льется от мозга к сердцу в пульсирующих ручьях бурлящей крови. Душа расширялась в огромный, разнообразный ландшафт: были там вершины с крутыми подъемами, глубокие, темные долины, простирались далекие моря сновидений. Буйное изобилие образов раздвигало тесные пределы камеры. Вглядываясь в эту бесконечность, удивительную и пустынную, как вселенная перед днями творенья, Оскар Уайльд ощущал гордость новой жизни, радость, даруемую могуществом, окрыленное сердце. Вставая по утрам, он приветствовал день возгласом счастья: «Какое начало, какое чудесное начало!»

Наконец, взяв одну из четвертушек голубой бумаги с тюремным штемпелем, он начал: «Дорогой Бози. После долгого и тщетного ожидания я решил написать тебе первым, как для твоего, так и для моего блага, ибо не мог вынести мысли, что пробуду в тюрьме два долгих года, не имея от тебя ни единого слова, ни единой вести, кроме тех, которые были для меня огорчительны. Наша злосчастная и достойная сожаления дружба...» Из этих слов вытянулась нить всей истории их дружб ы — с датами, цифрами, мельчайшими подробностями, с признаниями в том, чего не обсуждал ни один судья. При раскрытии прошлого, среди выметаемого давнего мусора пошла речь и о чем-то новом, и это «Послание, написанное в тюрьме и в оковах» («epistula in carcere et in vinculis») несло весть о науке тюремного бытия, об упражнениях в смирении, об испытанном позоре, о радости сочувствия.

Начал он свою исповедь в январе упреками, что Бози так упорно молчит, а закончил в марте словами: «Пиши мне со всей откровенностью о себе, о своей жизни, о друзьях, занятиях, книгах...»

Неужто он думал, что зремя остановилось и ждет, как посыльный, которому предстоит отнести это срочное письмо?

Сложив по порядку восемьдесят густо исписанных страниц и вручив майору Нельсону последний листок своей рукописи, Оскар почувствовал огромное облегчение, ту внутреннюю умиротворенность, которую верующему приносит исповедь, а писателю — препоручение своих страданий милостивому и целительному слову. Но заодно отхлынула смелость, побуждавшая его в течение этих трех месяцев на столь дерзкую откровенность. Он видел письмо в руках Дугласа, видел его искаженное, пылающее лицо, побелевшие от гнева глаза. Какое счастье, что рукопись находится под замком у коменданта тюрьмы и будет отправлена не раньше, чем он, Оскар, того пожелает.

На другой день он писал Россу:

«Отдельно пошлю тебе рукопись, которая, надеюсь, дойдет до тебя целой и невредимой. Как только прочтешь, прошу тебя распорядиться, чтобы изготовили точную копию... Рукопись чересчур длинна, чтобы доверить ее переписчику, а собственный твой почерк, дорогой мой Робби, в последнем письме говорит мне о том, что тебя этим делом обременять нельзя. Полагаю, единственно разумное — быть вполне современными и отдать переписать ее на машинке. М-с Маршалл могла бы прислать тебе одну из своих машинисток — в таких вещах можно доверять только женщинам, ибо у них нет памяти на важные дела,—и изготовление копии происходило бы под твоим надзором. Уверяю тебя, пишущая машинка, если на ней играют с экспрессией, не более надоедлива, чем фортепиано, на котором играет сестра или какая-нибудь кузина. По правде говоря, многие из тех, кто очень привязан к домашнему очагу, предпочитают пишущую машинку.

Я хотел бы, чтобы копию сделали на тонкой, но хорошей бумаге, такой, какой пользуются для переписывания ролей в театре, и чтобы были широкие поля для поправок... Прочитав это письмо, ты увидишь психологическое объяснение моего поведения, которое извне могло казаться смесью идиотизма и пошлого удальства. Придет время, когда надо будет рассказать правду,— необязательно при моей жизни... но я не намерен вечно пребывать у гротескного позорного столба, к которому меня пригвоздили...»

Рукопись ему, однако, пришлось самому взять у майора Нельсона лишь в день освобождения.

Теперь он уже считал дни до конца срока. Радость смешивалась с грустью. Трагедия тянулась слишком долго, кульминация ее давно миновала, внимание мира успело полностью угаснуть. Он возвращался в жизнь человеком никому не нужным, человеком, о котором забыли, чем-то вроде ожившего

вампира с седеющими волосами и изуродованным лицом. И все же каждая прогулка по двору была жестокой пыткой. Верхушки деревьев за оградой покрылись листочками дивного ярко-зеленого цвета. Глазам было больно смотреть. Апрельский ветерок говорил стихами Вордсворта. Он не вмещался в легких. Казалось, в тюрьме теперь становится все темнее. Надзиратель Мартин замечал его терзания.

— Так оно и бывает,— повторял Мартин,— говорят ведь, что самый темный час ночи — перед рассветом.

И Оскара опять охватывал трепет счастья при мысли, что в тот день, когда он получит свободу, в садах будет цвести сирень и он увидит, как ветер клонит ее кусты, и будет вдыхать ее запах. Он чувствовал, что его душа, вступив в теснейшую связь с душою вселенской, отзывается на тончайшие оттенки красок в чашечке цветка и на мельчайшие извивы раковины, выброшенной на прибрежный песок. И он догадывался, что за этой пестрой, многозвучной, трепетной красотой существует неведомый дух, с которым ему надобно заключить союз.

Когда 17 мая С.З.З. вошел в кабинет начальника тюрьмы, майор Нельсон встал:

— Через два дня вы будете свободны. Закон наш требует, чтобы узник вышел на свободу из той же тюрьмы, в которую был заточен после приговора. Нынче ночью вас отправят из Рэдинга в Лондон. Разумеется, в собственной вашей одежде.

Оскар собрал лежавшие на стуле панталоны, жилет и сюртук, они пахли затхлостью стенных шкафов, где их продержали два года. На стуле еще остался обвязанный шнурком пакет. Взяв его, Уайльд ощутил рукою тяжесть своей письменной исповеди.

— Я предпочел,— сказал майор Нельсон,— не посылать это со своей печатью.

Оскар кивнул:

— Возможно, вы правы.

Начальник тюрьмы взял его за руку.

— Еще одно слово. Сегодня у меня были два американских журналиста. Говорили, что хотели бы с вами встретиться. Я разрешил. Речь идет о часовой беседе, нечто вроде интервью. Они вам сразу же выплатят тысячу фунтов. Тысячу фунтов чеком или, если пожелаете, наличными.

Уайльд попятился.

— Я не понимаю, сударь, как можно предлагать такое джентльмену.

— Ах, мистер Уайльд, я не хотел вас обидеть. Я по истине огорчен. Я в этих делах не разбираюсь. Я думал...

Майор Нельсон был так смущен, что Уайльд улыбнулся.

— Я готов благодарить бога за то, что он продержал меня в тюрьме дольше, чем желали мои друзья. Это дало мне возможность в этих стенах узнать такое большое сердце.

И подал майору руку. Начальник Рэдингской тюрьмы крепко ее пожал.

Вечером 18 мая Уайльда перевезли из Рэдингской тюрьмы в Пентонвильскую, перевезли тайно во избежание каких-либо демонстраций. На следующий день он был освобожден. За двухлетнюю работу ему выплатили полсоверена. Было это ранним утром 19 мая 1897 года. У ворот ждал небольшой экипаж. В нем сидели Росс и преподобный Стюарт Хедлем, который когда-то внес за Уайльда залог и обещал, что отвезет его из тюрьмы к себе домой. Приехали они туда в шесть утра, и Оскар впервые после двух лет выпил чашку кофе. Часом позже явились супруги Леверсон. Когда Уайльд вошел в гостиную, чтобы с ними поздороваться, у них было впечатление, будто они видят короля, возвращающегося из изгнания.

— Как это мило,— сказал он,— что вы, сударыня, вспомнили, какую шляпку надо надеть в семь утра, дабы приветствовать долго отсутствовавшего друга.

Говорили о будущем. У Оскара было письмо от Харриса, который приглашал совершить вместе путешествие по Франции.

— Это невозможно,— ужаснулся Уайльд.— Общение с Харрисом подобно бесконечному футбольному матчу.

VIII

После сильной качки по воле весенних капризов Канала пароход лишь в нескольких узлах от порта успокоился и прошел между дамбами Дьеппа под тихий плеск, которым усмиренные воды гавани принимают суда из открытого моря. Для Оскара Уайльда, стоявшего на верхней палубе, этот легкий плеск был точно прикосновение дружеской руки. Он изо всех сил втягивал в себя чудесный воздух свободы и вдруг задержал дыхание, почувствовав где-то на дне его запах просмоленных веревок. Но то были всего лишь канаты, которые накинули на борт парохода. Роберт Росс вышел из каюты, держа на руке пальто. Он подал пальто Оскару, силой заставил надеть («В мае не бывает жарко») и побежал собирать чемоданы.

Через час их вещи выносили из дрожек. Увидев название гостиницы «Отель Сандвич», Уайльд рассмеялся:

— Наверно, Диккенс только по рассеянности забыл вставить его в какой-нибудь роман.

Минуту спустя у конторки портье он записывал свою фамилию в книгу. Маленький Робби стал на цыпочки и, глянув через его плечо, с удивлением прочитал: Себастьян Мельмот.

— Да, дорогой мой,— сказал Оскар.— Это будет самое подходящее имя. «Мельмот Скиталец», помнишь? «Une grande création satanique du réverend Maturin»[27] как говорит Бодлер, Мэтьюрин, друг Гете, Байрона, Вальтера Скотта, был двоюродным дедушкой моей матери. Садясь писать, он наклеивал на лоб облатку. «Себастьян Мельмот»— хорошо звучит. Святой Себастьян был красив. До того как белое его тело искололи стрелами, он ходил в пурпуре и золоте, как офицер императорской гвардии. Он жил на Палатине. Как я. И я жил на Палатине.

Впрочем, имя «Себастьян» застряло в его памяти еще и по другой причине. Выйдя из тюрьмы, Оскар отправился в Бромптонский монастырь, чтобы побеседовать с отцом Себастьяном Бауденом. Он хотел тут же перейти в католичество и принять новое вероисповедание из рук этого набожного старца. Но отца Баудена в монастыре не оказалось. Уайльда попросили пройти к приору. Он сказал, что еще вернется, и больше туда не являлся. Второй раз в жизни Уайльд подошел к порогу католической церкви и второй раз не переступил его.

Дьепп охотно посещали парижские литераторы, но, узнав, что туда приехал Уайльд, несколько из них сразу сбежало, зато нахлынула целая орава молодых поэтов. Оскар роскошно угостил их в «Кафе де Трибюно». Но они вели себя так шумно, что

супрефект предупредил Уайльда: он не допустит новых «оргий», как он выразился. В этих словах чувствовался слог английских туристов, не желавших жить с Уайльдом под тем же клочком неба.

Росс обыскал все окрестности и наконец в крохотном Берневале снял две самые лучшие комнаты в «Отель де ля Пляж». Это была единственная гостиница в селении.

Входя в приготовленные для него комнаты, Уайльд понял, по какой причине Роберт накануне не появлялся в Дьеппе. В просторном кабинете, куда лилось солнце из трех больших окон, стоял, кроме обычной мебели, шкафчик с книгами.

Неожиданная радость. Флобер, Стивенсон, Бодлер, Метерлинк, Дюма, Ките, Марлоу, Чаттертон, Кольридж, Анатоль Франс, Готье, Данте, Гете. Он взглядом перебирал эти имена, будто струны. От них исходили звуки его любимых ритмов, изливались образы творческих грез, которым довольно шелеста переворачиваемых страниц, чтобы в них кипела неустанная жизнь. Он мог опять сам себе определять каждый свой день, заполнять каждый час. Он мог себе сказать: «Завтра на заре я выйду с мрачным Пафнутием на поиски Тайс, а под вечер послушаю песнь, которою Саламбо встречает восходящую луну». В течение долгих, пустых дней он разрешит отчаянию Бодлера обитать в своем сердце, еще хранящем отпечаток собственного отчаяния, и с мощным потоком поэзии Гете выплывет к какой-нибудь новой звезде радости. Для Оскара, изголодавшегося в тюремной пустыне, вид этого книжного шкафчика был как запах оазиса. Когда он пожимал руку Росса, она была влажной — Росс только что побрызгал водою цветы у готической статуэтки богоматери, которую он поставил в углу комнаты.

Сразу после завтрака Росс уехал и Оскар остался один. Надвинулись тучи, разразился сильный ливень. Когда небо прояснилось, уже наступали сумерки. Гроза длилась несколько часов, но Оскару она показалась единым страшным мгновеньем. Переход от затхлой камеры и тюремной неподвижности к бескрайним морским просторам, к молниям и громам, к раскованности вольного существования был чересчур резким: отходя от потемневшего окна, Оскар почувствовал такое сильное головокружение, что еле добрался до кресла. В дверь постучались. На пороге стоял человек в пальто, с которого текла вода, и в покрытых грязью ботинках. Он не решался войти в комнату и издали протягивал письмо.

Бози наконец откликнулся. Как обычно, письмо его состояло из оскорблении и угроз. Оскар положил письмо на ночной столик. Выйти попросить света не было сил. Стало совершенно

темно. Мир за окнами сгустился в непроницаемый вал мрака. Это было чуть ли не страшнее тюрьмы. В гостинице царила полная тишина, не ощущалось ни малейшего признака жизни. Слышен был только гул нарастающего прилива. Мысль, прикованная к этим шумным и все более близким волнам,, к этой единственной реальности, словно сама начинала качаться, вовлекая все его существо в свое кружение, и уже нельзя было подавить чувство, будто темная эта комната — затерянная в море лодка; руки, тщетно ища весел, соскользнули не по ручкам кресла, а по борту внезапно накренившейся лодки, и тут что-то окончательно надломилось и унеслось среди шумящей бури.

Хозяин гостиницы, г-н Боннэ, войдя с зажженной лампой, увидел, что Оскар лежит на полу без чувств. Он позвал слугу, и вдвоем они перенесли Оскара на кровать. Тут он открыл глаза. Потом сказал, что хотел бы уснуть.

«В эту ночь я не мог спать,— писал он утром Россу.— Возмутительное письмо Альфреда было в моей комнате, я, не подумав, перечитал его второй раз и оставил у кровати. Мне снилась мать, она меня предупреждала, тревожилась за меня, Я уже знаю — всякий раз, когда я в опасности, она так или иначе является меня предостеречь. Теперь я испытываю подлинный страх перед этим несчастным, неблагодарным юношей, перед его лишенным воображения эгоизмом, перед этим полнейшим отсутствием всякой восприимчивости к тому, что есть в других доброго, милосердного или что стремится быть таковым. Я боюсь его как дурного влияния. Быть с ним означало бы вернуться в ад, из которого я уже вырвался, в чем я уверен. Надеюсь, что больше никогда его не увижу»».

Завтрак принесли в комнату. Он сразу отложил письмо и, поев, сам отнес поднос с посудой. День стал невольно заполняться множеством мелких действий: Оскар вытирал пыль, собирал с полу крошки, приводил в порядок книги и бумаги. Во всем этом он не чувствовал себя самим собою, и ему казалось, что мир переменился, стал от него более далеким, менее понятным, а главное, менее реальным. С отъездом Росса исчезло чувство, что все ныне происходящее находится в связи с прошедшим.

Оскар просто еще не уловил ритма этого нового одиночества.

Когда надо было выйти из гостиницы, пришлось преодолеть некоторую робость. За порогом расстилался край тучных лугов и островков леса. У рыбачьих хижин мужчины курили трубки, а женщины чинили сети. Оскар приветствовал их улыбкой, кивком головы в баскском берете. К полудню у него уже было несколько знакомых, детишки уходили от него с пригоршнями медяков.

«Чувствую, что Берневаль будет моим домом,— продолжал он

начатое письмо.— Ведь удивительно, что привез меня сюда белый конь родом из этих мест, который знал дорогу и спешил проведать отца и мать, оба они в почтенном возрасте. Удивительно и другое: я откуда-то знал, что Берневаль существует и что он приготовлен для меня».

За обедом он познакомился с пожилым господином, приехавшим на два дня и снимавшим номер в этой гостинице уже в течение двух лет. По-видимому, у него не было иных занятий, кроме того, чтобы есть да греться на солнце. Он жаловался на отсутствие театра. Месье Боннэ, подавая омлет, заметил, что театр ему вовсе не нужен, поскольку он ложится спать в восемь часов. Рантье стал возражать: потому, мол, он и ложится в восемь, что нет театра. Спорили они довольно долго, обмениваясь почти ритуальными фразами,— подобный разговор повторялся уже неоднократно. Господин под конец согласился, что Берневаль — самое подходящее место для человека на земле. Г-жа Боннэ выразила убеждение, что мистер Мельмот проведет здесь свою жизнь.

Следующий день был воскресеньем. Когда слуга вошел в комнату Уайльда и распахнул окно, вместе с солнечным светом хлынул колокольный звон. Notre Dame de Liesse — Святая Дева Радости созывала на богослужение. Уайльд собрался только в десятом часу. Церквушка, размерами не больше студенческой комнаты в Оксфорде, была полна. Какой-то человек уступил Уайльду свое место на скамье. После службы оба вышли вместе. Это был богатый крестьянин, он тут же рассказал о своей печали — он бездетен и совершенно одинок посреди своего богатства. Оскар посоветовал усыновить сирот. Можно взять двух мальчиков и одну девочку, так будет лучше всего. Бретонец уже не раз думал об этом, но его удерживало опасение— ведь дети вначале хорошие, а потом портятся.

— Все потом портятся,— сказал Уайльд.

— Надо бы мне еще потолковать с приходским священником. Видите ли, сударь, у моего отца был удар. Сидели мы с ним и разговаривали. Вдруг он упал. Я взял его на спину и отнес в постель. Там, на кровати, он умер. Но при нем был я, вы понимаете, сын.

В понедельник он продолжал письмо Россу: «9 часов

30 минут. Море и небо — опаловые, ни едиого рисунка не плывет по их просторам, только медленно двигается рыбачья лодка и тянет за собою ветер. Иду купаться».

Тот, кто увидел бы Оскара на берегу, мог бы подумать, что тюремные годы были попросту периодом лечения, убавившего тяжесть тучного, неповоротливого тела. Стройность, крепость

мышц придавали моложавый вид. Лишь в волосах белело несколько седых прядей, будто нити тюремной паутины. Но он еще чувствовал крайнее изнеможение. Не было сил ни для какой работы, обычное письмо требовало больших усилий. В последние месяцы, когда Уайльд писал то, что позже названо «Ое **Р г о ˆ п с П б », о н** витал на таких высотах, что ныне, на уровне моря и спокойной чистоты его далей, он испытывал как бы опьянение.

’ Рэдингская тюрьма все еще занимала его мысли. У него было там много друзей — одни уже освободились и приехали его навестить, другие остались. Он посылал им деньги, памятные подарки. В «Дейли кроникл» от 28 мая, менее чем через десять дней после освобождения, он поместил статью об истязаниях детей в тюрьмах и об увольнении надзирателя Мартина за то, что тот дал голодным мальчикам несколько сухарей.

Вскоре разнесся слух о том, кто проживает в Берне вале под именем Себастьяна Мельмота. Первыми совершили паломничество поэты с Монмартра, за полдня они уничтожили все запасы вин, грогов и абсента в «Отель де ля Пляж» и отправились в Дьепп, где Уайльд дал им прощальный обед в «Кафе де Трибюно»,— новее огорчение для супрефекта. Приехал Андре Жид пожать руку друга, руку с красными пальцами и потрескавшейся кожей. Представители нескольких крупных парижских газет предлагали немалые суммы за постоянный фельетон. Явился директор театра с просьбой сочинить новую пьесу. Каждый возвращался с горстью парадоксов, историй, афоризмов и убеждением, что беседовал с человеком, находящимся на пути от одной вершины к другой.

Бози изменил тон своих писем. Он снова был чувствителен и сердечен, а если вскипал гневом, это ведь указывало на силу его привязанности — он возмущался всем, что их разделило. Уайльд писал ему каждый день. «Не думай, что я тебя не люблю. Бесспорно, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Однако из нашей жизни неотвратимой силой исключена всякая возможность встречи. Осталось нам лишь сознание, что мы любим друг друга, и я все дни думаю о тебе и знаю, что ты поэт, и это делает тебя вдвойне для меня дорогим и чудесным».

В середине июня они начали думать о свидании. Дуглас был в Париже и приглашал к себе. Оскар не хотел пока появляться в Париже, не хватало смелости. «Приедешь ко мне в субботу, но не под своим именем. Ты представишься здесь как «Шевалье Флер де Лис» или «Жонкиль дю Валлон» («Нарцисс Долины»). Со следующей почтой он отправил письмо, в котором писал, что надо что-то решить, в таких делах не должно быть долгих колебаний: Бози примет имя «Жонкиль дю Валлон». Когда Бози

уже готов был ехать, от Оскара пришла телеграмма, чтобы он в Берневале не появлялся. Одновременно Росс получил открытку: «А. Д. здесь нет, и никогда не было речи о том, чтобы он сюда приехал».

Причиною внезапного отступления было письмо, в котором адвокат жены Уайльда таинственно намекал на какие-то «сведения от частных лиц». Оскар проникся убеждением, что окружен шпионами, что у Куинсбер ри есть в окрестностях Берневаля свои люди, которые следят за ним, докладывают о каждом письме, заглядывают в окна; он был уверен, что в любой день может появиться маркиз и устроить скандал, он боялся, что его выгонят из гостиницы. Сплетни французских газетчиков приводили его в отчаяние. Писали, будто он был на скачках в Лондоне в обществе Дугласа. Деньги из Лондона не пришли: видимо, его лишили ренты.

Средств для существования у Уайльда не было. После выхода из тюрьмы ему преподнесли около 800 фунтов, собранных друзьями в складчину. Этого вполне могло хватить до того времени, когда он снова мог бы явиться с новыми произведениями. Но он уже не был человеком, способным заключать союз с будущим. И он принял помощь жены. Констанция назначила ему из собственного капитала сто пятьдесят фунтов годового дохода. Она, однако, поставила условие, чтобы он не встречался с Дугласом. Было также высказано предположение, что она вернется к нему вместе с сыновьями после испытательного годового срока.

Между тем Бози слал телеграммы по нескольку раз ; в день. В Берневале телеграфного аппарата не было, телеграммы доставляли из Дьеппа, за каждую приходи лось платить несколько франков. Уайльд пытался его успокоить: «Мы должны переписываться лишь о том, что мы любим,— о поэзии и о превращении идей в образы, что является историческим постижением искусства. Я думаю о тебе непрестанно и люблю тебя непрестанно, однако нас разделяют бездны безлунной ночи: мы не в силах преодолеть их, не подвергаясь отвратительным, недостойным упоминания опасностям. Впоследствии, когда переполох в Англии стихнет, когда будет возможно сохранять тайну и когда свет предпочтет молчать, мы сможем увидеться, но теперь, сам понимаешь, это невозможно. Поезжай куда-нибудь, где ты сможешь играть в гольф и вернуть себе прежний цвет лица, свои лилии и розы...»

Бози перестал писать. Оскар опять начал думать, что проведет в Берневале остаток жизни. В конце июня он отпраздновал юбилей королевы Виктории угощением для детей.

За столом сидело десятка полтора мальчиков, он угощал их смородиной, кремом, шоколадом, абрикосами, перед каждым стояла рюмка с гренадином. Посреди стола сиял глазурью большой торт, окруженный венком красных роз. На память были детям подарены рожки и аккордеоны. Дети пели «Марсельезу» и «God save the Queen», кричали «виват» в честь королевы и господина Мельмота. Глядя на их темноволосые головы, Уайльд думал о своих мальчиках, судьба которых была ему неизвестна.

И они также ничего не знали об отце. На дом свалилось непонятное несчастье, отец куда-то исчез, а мать с ними убежала. «Что стало с нашими игрушками?» — спрашивали они. Только через много лет младшему сыну, Вивиану, случайно попал в руки каталог аукциона на Тайт-стрит, и он там прочитал: «Большое количество игрушек — 30 шиллингов». Однако никто не хотел ему сказать, что стало с отцом. Молчал и старший брат, Сирил, а он-то знал. Ему удалось прочитать газеты с отчетами о процессе. С тех пор мальчик замкнулся в себе, и никто не видел улыбки на его лице.

Они с матерью путешествовали по Европе. Побывали в Швейцарии, в Италии, посещали школу в Германии, Вивиан какое-то время провел у иезуитов в Монте-Карло. Они сменили фамилию — теперь она была «Голланд» — и трепетали от страха, что кто-нибудь может узнать их происхожАение. В конце концов отец стал легендарной фигурой — для одного сына страшной, для другого таинственной.

Он же тем временем обдумывал, когда и как вернуться в жизнь. Был у него единственный и самый прекрасный путь — творческое слово. Не для того ли судьба, воплотившись в тщедушной фигурке Росса, забросила его на бретонский этот берег? Он думал о том, сколь многие поэты, писатели, мыслители, удалившись от мира, замыкались в каком-нибудь тихом уголке земли и затем прославляли его обаянием своего имени. Он мечтал о маленьком домике с белеными стенами, с балками у потолка, как в старых английских фермах XVI века, и в конце концов снял себе шале Буржа, нечто вроде виллы в нескольких стах метрах от гостиницы. В своем полном учености воображении он сравнивал это шале с виллой, которую описывает в письмах Плиний. Тут тоже были комнаты для кабинета и столовой, да три других — чтобы устроить спальни для разных времен года; с большого балкона видны были опаловые просторы моря, и в особенно ясные дни на горизонте белели берега Англии, а через слуховое окошко можно было увидеть верхушки церквей Брайтона.

Сидя на балконе в кресле-качалке и вглядываясь в

красноватый свет под прикрытыми веками, Оскар выпевал про себя удивительную мелодию «Баллады». Постепенно складывались крепкие и строгие стихи, возникали строфы настолько простые, что человек этот, который в простоте никогда не находил совершенства, воспринимал их в полном отчаянии. Он пытался сопротивляться этим словам без блеска, этому корявому ритму, он отбивался от этой серой ткани всеми нитями золота и пурпура, какие только мог сыскать в своем вымуштрованном воображении. Но стоило перестать бороться, стоило чуть ослабеть давлению прежних творческих навыков, как из-под слоя мишуры пробивался чистый голос сердца. И тотчас возникали в уме картины, еще не обретшие форму. Сплошная ограда тюремного двора, сумерки камеры, стон наручников, беспечный шаг осужденного, бурление крови при мысли о его тайне, ночь перед казнью, последний танец висельника у столба — все предметы, поступки, слова, мысли, каждая минута памятных июньских дней прошлого года, каждая минута в своей глубочайшей, важнейшей сути — весь тот мир страха и сострадания мог жить только в самом простом слове. Случалось, что Оскар Уайльд, который считал себя всемогущим владыкою языка, готов был выпрашивать, как нищий, несколько обычных слов.

В конце концов рукопись эта его извела. Он уже не чувствовал ритма поэзии в толчее поправок и помарок. Отправив ее издателю, чтобы перепечатали на машинке, он в тот же день выехал в Руан на встречу с Дугласом.

Бози ждал на вокзале. Оскар выбежал к нему с громким криком. Взявшись под руки, бродили они по городу, заходили в кафе, нанимали дрожки, потом опять шли пешком и, наконец, устав от разговоров, воспоминаний и августовского солнца, вечером расположились в «Отель де ла Пост», где Дуглас накануне снял комнаты. Через два дня они разъехались: Бози в Экс-ле-Бэн — провести несколько недель с матерью и сестрой, Оскар в Берневаль — дожидаться его возвращения.

Казалось, будто некое волшебство изменило шале Буржа. На террасе слишком припекало солнце, а по вечерам от двери с террасы в кабинет дул холодный сквозняк. Скрип половиц, шорохи и потрескиванье мебели в ночные часы раздражали, напоминая о тоскливом одиночестве. С трудом можно было дождаться завтрака, старый Луи стал нерадив, г-н Боннэ брюзжал и надоедал. «Все человеческие несчастья происходят оттого, что люди не умеют спокойно сидеть дома»,— сказал мудрец. Но Оскар мудрецом не был. Он начал каждый день ездить в Дьепп, подолгу сидел в швейцарском кафе, наконец опять сбежал в Руан

и стал умолять, чтобы Бози там его навестил.

«My own darling boy,— писал он Дугласу,— все на меня злятся за то, что я опять возвращаюсь к тебе, но они не понимают... Чувствую, что, если могу еще мечтать об истинных произведениях искусства, я мог бы их создавать только рядом с тобой. Прежде было не так, но теперь все переменилось, и ты можешь возродить во мне энергию и ощущение радостной силы, необходимые для всякого искусства. Верни меня к жизни, и тогда дружба наша получит в глазах мира иное значение... И тогда, тогда бесценный мой, я снова буду Королем жизни!»

Во второй половине сентября Дуглас приехал в Руан и увез Оскара в Неаполь. В пути он все время обращался за мелкими суммами: на оплату счета в ресторане, на багаж, на папиросы. Можно было предполагать, что в каком-нибудь итальянском банке у него лежат деньги. Впрочем, стоило ли об этом тревожиться. Уайльд был тронут до слез, когда увидел на Виа-Партенопе движущиеся в бесконечность фонари экипажей, когда смешался с толпой, утонул в упоительной сумятице неаполитанских улиц. Они остановились в «Отель Руаяль» на Пьяц ца-дель-Муничипио, где у молодого лорда был открытый кредит.

Через две недели они переехали на виллу Джудиче в Позилиппо. Шли дни беспредельного счастья, заканчиваясь к вечеру пурпурным великолепием солнца, тонувшего в море за холмами Искии. Оба желали только покоя, газетчиков спроваживали. Оскар вернулся к своей «Балладе», Альфред писал цикл сонетов «Город души».

Бегство Уайльда встревожило друзей в Лондоне. Росс был огорчен до глубины души. Столько сердечной доброты, преданности, бескорыстных услуг и внимания с его стороны, и как быстро все оказалось тщетным! Оскар оправдывался психологической необходимостью. Мир вынудил его к этому. Он не может жить без атмосферы любви. Он должен кого-то любить и чувствовать себя любимым, независимо от цены, которую ему придется заплатить. Он знает: то, что он сделал, гибельно, но так было надо. Оба они не видят иной возможности жить. Ему придется еще не раз изведать горе, но что с того, раз он любит Альфреда. Любит, быть может, именно потому, что тот разрушил его жизнь. Ведь последний месяц в Берневале он чувствовал себя настолько одиноким, что думал о самоубийстве. Мир закрывает перед ним все двери, лишь врата любви открыты.

Все это не предотвратило бури. От жены пришло письмо с угрозами. Можно было ожидать, что она начнет бракоразводный процесс. Новый скандал, новое разбирательство с допросами тех

же свидетелей, под вопли всей прессы привели бы к окончательной гибели, уничтожили бы те слабые завязи будущего, которые понемногу росли. Кончилось тем, что прекратили выплату Уайльду ренты.

«Баллада Рэдингской тюрьмы» была готова, хотя еще шли споры с Россом о прилагательных,— на нее возлагались большие надежды. Английское издание должно принести пятьсот футов, второе, американское, еще столько же; перед тем как появиться отдельной книжкой, поэму, возможно, напечатают две крупные газеты. Все лопнуло, ни одна газета не хотела принять эти стихи, даже без подписи,— напрасно Уайльд сбавлял цену до пределов, дозволявшихся самолюбием. Остался один издатель: Леонард Смитерс, специальностью которого были нецензурные книги, всяческие непристойности, продававшиеся «из-под прилавка». Жизнь делала грозное напоминание — будущее, возможно, уже не пойдет дальше дворов, лестниц и прихожих.

— Вот Оскар Уайльд в издании за два пенса! — кричал Бози в минуты крайнего возбуждения.

Было заметно, что он чувствует себя обманутым. Ведь он верил, что Уайльд опять создаст ему чудесную и беззаботную жизнь. Свалившаяся на них внезапно нужда была воспринята просто как предательство, и когда пришел вызов в суд за неоплаченный счет прачке, он кинулся на Оскара с кулаками, обзывая его лен

тяем, бездельником, дармоедом. В конце концов леди

Куинсберри прислала двести фунтов с требованием, чтобы Бози. немедленно оставил Уайльда, если хочет получать помощь из дому. В тот же день он уложил чемоданы и уехал, оставив Оскару немного денег и множество долгов. Поздним вечером Уайльд сбежал из виллы и спрятался от кредиторов в меблированной комнате на улице Санта-Лючия. Как сˆм он позже сказал, у него «не было смелости взглянуть в лицо своей души».

Однажды он неожиданно очутился на пристани Им маколателла-Веккья, когда там раздавались звонки отходившего небольшого парохода. Уайльд сел на него, не спрашивая о направлении.

Неаполь постепенно удалялся, разворачивая всю свою дугу от торгового порта и до Позилиппо, голос большого города звучал все глуше, точно рассыпаясь пылью и смешиваясь с золотою дымкой солнечных лучей, лившихся на купола храмов и на белые фасады домов. Полуостров Сорренто вдавался в море волною своих лесистых возвышенностей, пароходик обогнул Вико-Эквензе, и вот над скалами зацвел край апельсинов, тутовых ягод, алоэ, фиг, гранатов, оливок. Сады подымались и опускались

террасами, безлистные ветви винограда оплетали сквозистые перголы, небольшие домики белели в тишине и покое, всюду были какой-нибудь уступ холма или выемка в неровной, низкой ограде, на которые можно опереться, какой-нибудь камень на солнце или в тени, на который можно присесть, а вдоль берега тянулась длинная полоса карликовых сосен. Всюду было место, где можно жить, жить в счастье и покое до конца дней своих, жить с книгой, с лодкой, с мечтой.

Пароход причалил в Сорренто. Несколько мальчиков пры,гнули из барки в море. Вода на миг замутилась, будтр от радужной мыльной пены, потом снова обрела прежнюю идеальную прозрачность. От движений рук и ног ныряющих мальчиков вспыхивали искры и загорались странные огоньки, которые струились сверкающей полосой до желтого дна. Оскар бросил несколько медяков. Они пошли ко дну, кружась и отсвечивая, как лепестки розы на ветру.

За Сорренто берег опустел, и пароход повернул на запад. Весь Капри был на виду, от Пунта-дель-Арчера до Пунта-дель-Капо, лотом остров стал умаляться, сужаться, пока не осталось от него лишь немного скал да зелени — кусок берега на таком расстоянии, что слышен был запах смолы и крики женщин, отвязывающих лодки.

Баулы, чемоданы, тюки сносили на лодки, перевозившие пассажиров на сушу. Женщины брали их из рук гребцов, клали на голову и поднимались в гору как шеренга кариатид, позолоченных льющимися с запада лучами. Ничего другого не оставалось, как сойти вместе с прочими. Простое это дело было не менее трудным, чем взвалить себе на плечи земной шар.

Снизу, от воды, донесся голос, напоминавший стон: — Signore, per l amore di Dio!

Старый рыбак махал шляпой и умолял своими светлыми, ясными глазами. Оскар сбежал по сходням и вскочил в его лодку.

Наверх, в город, повезли его дрожки. Ехали отлогим серпантином, вдоль лимонных садов и прикрытых соломенными матами виноградников, и остановились у отеля «Пагано», где как раз зажигали лампу над входом. В зале ресторана столы уже были накрыты к обеду. Оскар сел за маленький столик недалеко от двери. После третьего звонка вошло несколько мужчин. Один из них, увидев одинокого посетителя, с минуту смотрел на него, потом шепотом что-то сказал товарищам. Под давлением пяти или шести пар глаз Оскар склонился над белой, чистой скатертью, на которой не нашлось ни крошки, чтобы дать занятие беспомощным его рукам.

Он поднял голову, когда услышал, что синьор Пагано весьма

учтиво что-то говорит ему, выписывая круги и завитушки странного, непонятного красноречия. Но оно только сперва показалось непонятным. Уайльд не перебивал, как бы поглощенный желанием узнать, насколько красноречие итальянца отличается в этих делах от скудной изобретательности лондонских хозяев гостиниц. Пагано говорил как человек латинской цивилизации, как потомок великой нации, омытой от всякой пошлости волнами тысячелетних приливов и отливов человеческой мысли. В его искусных оборотах вмещалось столько презрения к британским варварам, что Уайльд, вставая из-за стола, подал ему руку и невольно произнес:

— Grazie, signore.

Заходить в рестораны он уже не пробовал. Углубившись в улочки итальянского города, купил по дороге немного колбасы, сыру, хлеба, бутылку вина и, идя по направлению отдаленного шума, вышел к морю в том месте, где оно неутомимо обтачивает скалы Фаральони Ночь была очень теплая. Когда Оскар запрокинул голову для последнего глотка вина, он увидел кончик луны» выглядывавшей из-за Монте-Тиберио.

«В обществе таком, каким мы его создали, для меня не будет места, но у природы, чьи ласковые дожди льются равно на правых и на виноватых, найдутся расщелины в скалах, где я смогу укрыться, и потаенные долины, где я смогу выплакаться в тишине и без помех. Она зажжет звезды на сводах ночи, чтобы я не заблудился во мраке, и пошлет ветер развеять следы моих шагов, чтобы никто меня не нашел; она омоет меня в своих обильных водах и исцелит горьким зельем».

Оскар без конца повторял эти фразы, упиваясь ил ритмом. Радостно и тревожно было при мысли, что так буквально осуществилось то, о чем он писал в своем тюремном послании. Он снял шляпу, чтобы ветер, увлажненный росою разбивающихся волн, продувал его волосы. Лежа на камнях, он не чувствовал ни их твердости, ни тяжести тела, которое стало легким в объятиях жаркой, невысказанной надежды. Между ним и миром все порвано, и отныне все, что может с ним случиться, будет происходить на какой-нибудь далекой, необитаемой звезде. Столько есть звезд, которыми можно, завладеть, дав им имя, дав им душу, дав им слово. Он почувствовал, что близок к великому прозрению, к ослепительному откровению, в котором заключит всего себя, объяснит всю красоту мира,— и, воспрянув из глубин своего бессилия, он простерся ниц, подобно белой странице, готовой принять тот текст, -который угодно будет начертать перстам господним.

Заря рассеяла благодать ночи. Оскар встал, окоченевший,

дрожа от холодной сырости,— лицо было опухшее, под глазами синяки. Он возвратился в Неаполь и оттуда, нигде не задерживаясь, поехал в Париж.

Отель «Марсолье» на улице с тем же названием, спрятанный позади Французского банка, в первые ночи лишал его сна. Воображение, занятое подсчетами своей нищеты, угадывало за соседними стенами, за видневшимися напротив зарешеченными окнами шелест банкнот, звон металла и таинственную дремоту золотых слитков, лежащих где-то в глубоких подвалах. Слепые очи матовых стекол в нижних этажах задевали Оскара как личное оскорбление. Это было в стиле Дугласа, который писал: «Ты напоминаешь мне, что я обязался покрыть расходы в пятьсот фунтов на процесс против моего отца. Не спорю, это долг чести, но, так как большинство джентльменов не платит долгов чести, ты не вправе сетовать на меня за то, что согласуется с общепринятыми обычаями».

Итак, оставалось лишь брать взаймы да попрошайничать у друзей. Долги были делом достаточно обычным, к ним он привык со студенческих лет, но тогда он занимал в счет открытого будущего — ни у кого не хватало духу из-за десятка-другого фунтов выбросить на улицу приятного, многообещающего юношу. Теперь же сорокалетний, седоватый мужчина, который вечером проходил крадучись мимо гостиничной конторы, оставляя за собою запах абсента, не внушал доверия. На улице Марсолье г-ну Себастьяну Мельмоту сказали, чтобы он не возвращался, пока не принесет деньги. Через несколько дней пришел от его имени г-н Дюпуарье, хозяин «Отель д'Альзас» на улице Изящных Искусств, уплатил по просроченным счетам и забрал вещи своего постояльца.

Дюпуарье нашел Оскара просто на улице. Он знавал писателя еще во времена славы: в нескольких отелях и кафе, где он когда-то служил, ему не раз случалось восхищаться этим изысканным, учтивым джентльменом. Он был счастлив, что может предложить Уайльду приют под своим кровом. В его пятиэтажной гостинице нашлись две комнаты первого этажа: небольшая гостиная и еще меньшая спальня, оклеенные желтоватыми обоями с нелепым рисунком, обставленные мебелью под красное дерево. Гордостью г-на Дюпуарье были стоявшие на камине позолоченные часы с маленькими мраморными колоннами и орлом императора, накрытые стеклянным колпаком и уже много лет не замечавшие течения времени.

13 февраля 1898 года появилась наконец «Баллада Рэдингской тюрьмы». Тридцать экземпляров на японской бумаге, по одной гинее, и восемьсот экземпляров на голландской бумаге

«Ван Гельдер», по полкроны,— без названия и адреса издательства. Автор подписался «С.З.З.». Через десять дней вышло второе издание с некоторыми изменениями в тексте — тысяча экземпляров. Третье, в начале марта, было предназначено для библиофилов. Девяносто девять экземпляров, рукою самого издателя пронумерованных красными чернилами и подписанных автором. Переплет был из красного холста, в правом его углу тисненный золотом рисунок Карла Рикетса: из сердца растет роза на фоне стилизованных листьев. Одновременно вышло четвертое издание (тысяча двести экземпляров) и несколько дней спустя еще тысяча как издание пятое. Английские критики, не догадываясь, кто скрывался за подписью «С.З.З.», объявили, что «уже много лет не появлялось ничего подобного», что баллада принадлежит к шедеврам английской литературы, что она напоминает прекраснейшие строфы Софокла. Когда же выяснилось, о ком идет речь, было уже поздно отступать. Фамилия Уайльда появилась в скобках рядом с криптонимом лишь в седьмом издании, в июне 1899 года.

24 марта 1898 года газета «Дейли кроникл» напечатала письмо о жестокостях тюремного режима в Англии. Заглавие письма было: «Не читайте этого, если хотите быть счастливыми», а подпись: «автор «Баллады Рэдингской тюрьмы». Письмо, написанное в связи с реформой, разработанной министром внутренних дел и обсуждавшейся в парламенте, заканчивалось словами: «После всех перемен останется еще сделать многое. И первой задачей, возможно, самой трудной, будет сделать людьми начальников тюрем, цивилизовать надзирателей и привить христианское учение капелланам».

Дорога из тюрьмы казалась Уайльду тропою святого Франциска Ассизского. Четыре остановки сделал он на ней: «De Profundis», письмо о надзирателе Мартине, «Баллада Рэдингской тюрьмы», второе письмо о тюрьмах — дальше не пошел. Тропа смирения, раскаяния, сострадания, неведомых прежде восторгов, минут сосредоточенности у подножья покинутых святынь — внезапно исчезла в шуме парижских бульваров. Не осталось от.нее ни малейшего следа, самой малой приметы, чтобы можно было на нее вернуться.

Впрочем, после отъезда из Берневаля Уайльд жаждал возвращения в совершенно иные края. Когда появилась в печати «Баллада», лондонские улицы в его мечтах стали ближе. Он снова видел себя на пьедестале, окруженным людьми, ловящими его слова. Экземпляры «Баллады» он разослал парижским писателям —■ как плату за возвращение ему утраченных прав гражданства. Теперь он появлялся в их обществе, сидел с ними у Пуссе на

Бульвар-дез-Итальен. В разговоре воскресал прежний его блеск. Но вдруг он мрачнел, глаза наполнялись слезами, он начинал жаловаться на голод и нищету, даже если это было после обеда у Пайара. Рассылал друзьям отчаянные письма, где говорилось о самоубийстве. Из Генуи пришло известие о смерти Констанции. Ее похоронили на тамошнем Кам по-Санто, в надгробной надписи было упомянуто лишь то, что она была дочерью королевского советника Горацио Ллойда. От ее семьи Уайльд уже не мог ждать никакой помощи.

Был только один выход: писать. И сам он знал, и все ему это повторяли, что достаточно сочинить новую пьесу, и к нему вернется прежнее благосостояние. Сколько раз, вдруг увлеченный этой мыслью, он со всех ног бежал к ближайшим дрожкам, просил ехать на Рю де-Боз-Ар, врывался в свою квартирку, выпроваживал добрейшую г-жу Дюпуарье, у которой всегда были для него какие-то новости, и, позабыв снять пальто, шляпу, искал бумагу и перо! Но именно в эти минуты всегда чего-то недоставало. На столе, на стульях, на полу валялись книги, старые газеты, полуразрезанные журналы, носки, белье, трости, все это падало, путалось под локтями, в комнате поднималась пыль, окна не давали света, лампа коптила.

Из душной мглы и беспорядка вырастали картины прошлого. Комнаты на Тайт-стрит, виллы в Торки,, Го ринге, Уортинге, номера в дорогих гостиницах, удобная мебель, прекрасная писчая бумага, даже бедные комнатки на Солсбери-стрит виделись в чарующем свете — тогда были открыты все врата, все вершины были доступны. Наедине со своей памятью, глядя в зеркало, которое под толстым слоем пыли представляло его отражение сглаженным и гораздо более привлекательным, словно и оно возвратилось в прошлое, Оскар, как четки, перебирал былые триумфы и нынешние беды и ничем не мог заполнить лежавшие перед ним страницы кроме как слезами. В конце концов он вскакивал и убегал из дому.

Парижские улицы освобождали его от гнетущего одиночества. Там находил он настоящий свой приют — в толпе, в меняющемся и бесчисленном множестве людей; это теперь было его домом, его семьей, и он так проникался извечной красотой движения, целительной гармонией уличного шума, что просто рассматривал как свою собственность тысячи экипажей, которые обрызгивали его грязью, и открывал им путь к счастью своей улыбкой, точно речь шла о собственном его счастье, точно с их движением приближались к нему дни, которые когда-нибудь должны ведь наступить снова. Час разлуки с городом всегда был для него болезненным, наступал внезапно, как непредвиденное

горе. В последних прибежищах ночи он еще грелся у самых малых огоньков. И наконец возвращался к своим неубранным комнатам, к незастланной постели, к Бальзаку в издании за 60 сантимов, где он искал уже не Люсьена де Рюбампре, чувствуя, что все более приближается к барону Юло.

В конце 1898 года Фрэнк Харрис увез его из Парижа на юг. Остановились они в Ла-Напуль, в двенадцати километрах от Канн, в небольшом отеле, глядящем на море сквозь редкий сосновый лес. Когда сели обедать под большим зонтом невдалеке от моря, Оскар испытал невыразимое блаженство, которое, вроде благоухания, исходит от некоторых мест, будто созданных для отдыха и остающихся в памяти полосой голубого света. Целыми днями он сидел у моря, катался на лодке, разговаривал с рыбаками, возвращался ночью, per arnica silentia lunae[28]. Читал Вергилия. Ему хотелось написать балладу о Молодом Матросе, песню свободы, веселья и поцелуев.

Казалось, так легко собрать воедино улыбки моря, вздохи ветра, солнца и облака молодой, радостной души—стихи прямо трепетали на губах. Он был совершенно уверен, что для этого достаточно будет одного вечера тишины, и покамест принялся сочинять комедию. Действие происходило в сельском замке с бастионами времен Тюдоров, с павильонами в стиле королевы Анны, со стрельчатыми окнами и ветхими башенками — одном из тех, какие он видел во времена, когда недоступные эти крепости открывались пред его победительной удачей. Харрис был в восторге от каждой сцены, которую ему рассказывал Уайльд. Потом возникли замыслы библейских драм, о них он думал еще в Рэдинге. «Фараон» был подобен синей тени на желтом песке. «Ахав и Иезавель» у рощи Ваала слушали проклятия Илии. В конце зимы предполагалось найти время для новеллы о Иуде.

Словно в погоне за большей яркостью воображения, Оскар нанимал экипаж и ехал в Канны, там он усаживался в каком-нибудь из прибрежных кафе, более одинокий среди чужих людей, чем в своем укромном углу, где его знал каждый ребенок. Заглядевшись на искрящееся море, он совершенно отрывался от своего времени.

В колеснице под пурпурным балдахином ехал он вот уже несколько дней по белой прямой дороге, которая иногда круто вздымалась вверх, и тогда, с высоты, можно было видеть рассеянные в долинах селения, а когда дорога опять шла низом, оставалась лишь прохлада пробегавших по обеим сторонам садов. Рабы разгоняли пред ним толпу — повозки, мулы, люди пятились в стороны, слышались скрип, ржанье, крики. Потом он пересаживался в носилки и за полузадернутыми занавесками

видел знакомые мраморные сооружения Рима, пестрый человеческий муравейник на Форуме, сияющие бронзой кровли императорских дворцов. На празднестве Флоралий нагие юноши с позолоченными устами плясали на улицах и набрасывали ему на шею цветочные гирлянды. Он беседовал с Петронием под сенью старого мирта, одна ветка которого оказалась под согнутой рукой Дианы, достающей стрелу из колчана, и в их речах разделявшее их время текло и исчезало наподобие воды, не знающей ни границ, ни столетий. А потом он был изгнанником, жил под недоброй властью жестокого, подозрительного владыки на Корсике, как молодой Сенека или как красавица Юлия на Пандатарии или на каком-нибудь острове Циклад, непрестанно тоскуя по Риму.

Вдруг раздался звонок подъезжавшего велосипеда. Это был Джордж Александер, директор театра Сент-Джеймс. Оскар поднялся обрадованный, даже прошел несколько шагов на мостовую, точно хотел его задержать. Но этот человек, который на комедиях Уайльда нажил тысячи фунтов, отвернулся и быстро проехал мимо.

В Ла-Напуль можно было обо всем забыть. Один за другим шли дни, будто нитью вытягиваясь из безоблачного неба, чудесные, голубые, пронизанные солнцем.

«Я теперь очень расстроен,— писал он Жиду,— ничего не получил из Лондона от моего издателя и сижу совершенно без денег. Видите, в какой степени трагедия моей жизни стала безобразной. Страдание — можно, пожалуй, даже необходимо терпеть, но бедность, нищета — вот что страшно. Это пятнает душу...»

Фрэнк Харрис, глядя на него из окна своей комнаты, в жизни бы не догадался, что этот человек за столом, уставленным фруктами и шампанским, пишет о страхах голодающего бедняка. А Уайльд таким способом избавлялся от опасений, которые внушали ему выжидающие взгляды Харриса. Ему казалось, что Харрис ждет его новой комедии, как тюремный надзиратель — корзины с паклей. Заодно он старался утвердить свою нищету в памяти людей, которые когда-нибудь могут быть полезны.

После отъезда Харриса Оскар переселился в Ниццу. Но там было слишком много англичан. Случалось, что он скрывался через боковые двери кафе, не успев что-либо заказать. Он навестил Сару Бернар, которая приезжала в Ниццу на гастроли, и актриса разыграла великолепную сцену плача и сострадания к «бедному другу». Поехал было в Италию, но вдруг у самой границы повернул обратно и, составив план путешествия в Испанию, купил билет в Швейцарию. Туда он направился по

приглашению некоего Меллора, знакомого по Ла-Напуль, у которого была вилла в Глане, в часе езды от Женевы.

Когда он в первое утро выглянул в окно, тусклый свет озарял пейзаж удивительно спокойный и почти бесцветный— лишь вдоль горных склонов темнели янтарные полосы да расцветали золотые розы меж складок белого покрова Монблана. В долине было озеро, от тумана серое и неподвижное, с густыми тенями прибрежных сосен. От этого зрелища он целый день заливался слезами — то была как бы чудом перенесенная картина Тернера, которая когда-то висела у Рескина в Оксфорде.

За обедом достойна похвал была лишь любезность хозяина, вина подавали швейцарские. Через неделю вино исчезло, его заменили пивом, которое тоже посте пенно иссякло, и когда, к концу третьей недели, Оскар попросил вторую бутылку, Меллор отговорился дороговизной. Уайльд стал подумывать о бегстве. Он возненавидел Меллора, а с ним и всю Швейцарию. Отсылая корректуру «Идеального мужа», он писал в Лондон: «Швейцарцы отвратительны: в них нет ни формы, ни цвета, у их скота и то больше выразительности». При его отъезде Меллор со слезами просил остаться. Уайльд через Женеву возвратился в Париж.

Маркиз Куинсберри умер. Лорд Альфред получил свою долю наследства, составившую 15 тысяч фунтов. Он явился в Париж со свитою слуг, камердинеров, грумов, егерей, завел в Шантильи конюшню скаковых лошадей, каждую неделю нанимал другую виллу, разрывал подписанные контракты — казалось, Париж ему тесен, в течение одних суток его видели в стольких отелях, ресторанах, мюзик-холлах, точно он обзавелся двойниками. Оскар принимал участие во всей этой суете — выбирал в магазинах мебель, терпел даже цыганский хор, веря, что начинает новую жизнь. Бози, конечно же, назначит ему годовую ренту, вначале фунтов двести или триста, а потом ее увеличит, когда женится на американской миллионерше. Покамест Уайльду перепадали небольшие суммы, но мысль о ренте не давала ему покоя, он намекал на это при каждом удобном случае, а когда у самого не хватало смелости, подсылал друзей говорить с Альфредом,— в конце концов Дуглас обозвал его «старой шлюхой» и не пожелал даже слышать о нем.

Уайльд духовно сник, словно под непосильным бременем. Он чувствовал гнетущую усталость, которую вселяет мысль о загубленном, бесполезном прошлом, начинал понимать, что всю жизнь усердно трудился над тем, чтобы испортить себе последние годы.

«Я глубоко убежден,— писал он Россу,— что всякое сожаление о прошлом бессмысленно. Ничто не могло сложиться

по-иному, жизнь — ужасная штука».

Судьба обретала окончательную определенность. То, что еще тлело в Уайльде, питалось непогасшими искрами суетности, страстной любовью к миру, а если бы и этого не стало, его поддерживало бы упрямство, которое порой скрепляет нити существования, казалось бы, вконец уничтоженного, и даже может породить новые иллюзий.

Впрочем, у него теперь все было непрочно, все проносилось, будто через пустоту, расплывалось в необы чайной подвижности впечатлений. Он снова был весел, изобретал сотни способов вытянуть у Альфреда хоть несколько фунтов, незнакомых держал на дистанции прежней своей славы, перед друзьями лил слезы. При каждом прощании, когда надо было занять десять франков, появлялась на свет история о каком-то «ничтожном, лишенном воображения» человеке, который его оттолкнул или обманул,— это мог быть Дуглас, Росс, Шерард, Жид, кто угодно,— Уайльд жаловался, что болен, что нет денег на стакан молока, что его выбрасывают из отеЛя, и, затерянный в Париже, занятый постоянным бегством от одиночества, он возвращался ночью всегда с пустым карманом, не помня, где и на что расшвырял деньги, порою немалые.

Снова появился Меллор и предложил ехать в Италию. Отправились в начале апреля 1900 года, неделю провели в Палермо. Оскар ежедневно ходил в собор. По пути в Рим его еще раз приласкал Неаполь и запечатлел на его бледном лбу последний свой солнечный поцелуй. Пасхальные дни в Риме опять привели его на порог церкви. Уайльд не пропускал ни одной возможности увидеть папу, несколько раз получал его благословение, преклонив колена на плитах собора или на площади Святого Петра. Он обещал себе приехать туда опять следующей зимой. Давал себя фотографировать на римском Форуме, на Капитолии, у статуи Марка Аврелия на Квиринале.

После возвращения в Париж иллюзии рассеялись. Долго ли еще мир будет кормить его? Но раз уж он решил держаться за жизнь, пусть не имеющую никакого смысла, нечего было раздумывать над выбором средств. Он брал авансы за комедию, которую собирался вскоре закончить. Составил план пьесы, набросал несколько персонажей, сделал с рукописи десятка полтора копий и продавал их каждому, кто подвернется. Смитерс, издатель его драм, дал ему сто фунтов, столько же заплатила м-с Браун Поттер; Гораций Седжер, Три, Ада Роан, Кирле Белью, мисс Нетерсол и Джордж Александер, с которым он после случая в Каннах примирился, в разное время покупали этот сценарий за большие или меньшие суммы. Наконец, Фрэнк Харрис дал ему

пятьдесят фунтов и сам написал всю пьесу. Было не так-то просто успокоить всех кредиторов. Оскар и слышать ни о чем не хотел. Если бы, мол, не вмешался Харрис, можно бы еще несколько лет прода ват> этот набросок и даже поехать с ним за границу, в Германию.

Пьеса «Мистер и миссис Давентри» была включена в репертуар. Уайльд был возмущен. Он никогда не допускал, что Фрэнк всерьез возьмется за эту работу, Фрэнк не имел права. Бесспорно, будет провал.

— Театр нельзя поручать любителям, сцену надо знать. Это нелепость, Фрэнк, чистая нелепость. Ты никогда не ходишь в театр и воображаешь, будто так легко написать пьесу, чтобы она имела успех! Я-то всегда любил театр, бывал на каждой премьере, театр у меня в крови.

Комедия имела огромный успех. Разошелся слух, что настоящий ее автор — Уайльд. Хотя в ней не было и двух фраз, им написанных, рецензенты узнали в каждом обороте перо Уайльда. Даже кончина королевы Виктории не отразилась на интересе публики. Было сто тридцать спектаклей. Каждую неделю от Оскара прибывало письмо с требованием тантьем. Харрис не отвечал. Уайльд полагал, что его ограбили, отняли у него то, что он называл своей пьесой, и теперь он умрет с голоду. Выходя в полдень из дому, он направлялся в морг и разглядывал тот страшный катафалк, на который кладут безымянных покойников.

Возле него стало пусто. По вечерам он заглядывал в окна дорогих ресторанов, бродил под дверями Пайара, Фуайо, Мэра, Вуазена, Дурана в надежде встретить кого-либо из прежних друзей, потом возвращался в Л атинский квартал, где были заведения, для него доступные. Он уже не мог быть переборчив. Общество из нескольких студентов и гризеток вполне его удовлетворяло. Он собирал их за столом, уставленным стаканами, и, когда они склоняли к нему головы, шептал, будто поверяя тайну:

— Знайте, абсент — единственный в своем роде напиток. Он ни на что не похож. В его опаловых тонах есть нечто от тех дивных нюансов, какие бывают на юге в часы сумерек. Он приправлен соблазнами необычных грехов. Он крепче всех напитков, он пробуждает в человеке подсознание. На нервы он действует как изощренная жестокость, как факелы Нерона. Он меняет краски наподобие тех драгоценных камней, цвет которых изменяется на солнце. Он подчиняет чувства...— Оскар отпивал глоток, прищуривал глаза.— Délicieux (Восхитительно!),— говорил он, делая акцент на втором слоге, Он рассказывал старые свои истории, повторял давние разговоры, вынимал мятую,

истертую фотографию красивого юноши.

— Вот настоящий Дориан Грей,— говорил он.— Я повстречал его год назад в Риме. Смотрите: те же глаза, волосы, брови. Этот человек не существовал бы, не напиши я своей книги.

Случайные слушатели знать не знали, о какой книге он говорит. Он зажигал перед ними яркие огни своих парадоксов, и убогий кабак превращался в салон времен его блеска. Он рассказывал, кем он был, как приятно звучали для всех три слога его имени и фамилии, какие двери открывались перед его славой, говорил о лордах, герцогах, герцогинях, о великих писателях, что были его друзьями («Они целовали мои сапоги, а теперь не узнают меня»), о дивных цветах, которые он носил в бутоньерке, о необыкновенных кушаньях, которые бывали на его столе.

Подперев головы руками, студенты слушали его молча, устремив взгляд куда-то выше этих видений, к далекой, туманной линии горизонта их собственного будущего. Гризетки вздыхали, не смея слово молвить в присутствии этого толстого великана и не понимая, что за таинственная связь существует между его нечистым воротничком, потертым сюртуком, засаленной шляпой и манерами большого барина, каждое движение которого уместно во дворце. Они слушали и удивлялись.

— Нет ли у кого-нибудь из вас желтого атласа? Десять, двадцать метров — обить комнату. Мне нужен желтый атлас. При взгляде на желтый атлас меня оставляет грусть, я становлюсь веселым, радостным. Чтобы я мог писать, мне нужен желтый атлас. И еще мне нужны львы в золотых клетках. Это ужасно! Львы больше всего любят человечье мясо и золото, а им никогда не дают вдосталь ни того, ни другого. У одного друга Эфрусси была позолоченная черепаха с вставленными в панцирь изумрудами. Мне тоже нужны изумруды, живые драгоценности.

Его отводили домой. Асфальт под ногами казался ему текучим, как вода.

Здоровье ухудшалось. Появились пятна на теле, которые временами исчезали, а в послеобеденную пору сильно увеличивались, слабое щекотание в этих местах переходило в мучительный зуд. Ему запретили пить, предписали диету. Через несколько дней начались невыносимые боли в ухе. Доктора установили, что это на рыв, и сделали операцию. Все расходы оплатил хозяин отеля, Дюпуарье, который не отходил от больного. Вызванный телеграммой, приехал Роберт Росс вместе с романистом Реджиналдом Тернером. Оскар, очень ослабевший, приветствовал их улыбкой. Он шутил над врачами, над собственной болезнью, но, когда Росс вспомнил, что нынче его день рождения, и пожелал ему долгих лет, он возразил:

— Нет, Робби. Я уже не переживу нашего века. Уйду вместе с ним. Мы были созданы друг для друга, а будущему столетию я не мог бы дать ничего нового.

Оба друга проводили с ним все дни, даже обедали **и** ужинали в его комнате. Через две недели он начал вставать. Одетый, он имел еще более жалкий вид, чем в постели,— постарел, исхудал. Вышли в город. Росс вел его под руку. Идя по Рю-де-Боз-Ар, Оскар останавливался перед каждым магазином, в витринах которого висели репродукции знаменитых картин, и удивлялся, что есть несколько совершенно ему незнакомых. Они зашли в маленькое кафе напротив Пантеона. День был серый, с нежно-серым парижским небом. Оскар выпил стакан абсента. Вернувшись в отель, он чувствовал сильную усталость, а на другой день проснулся с насморком и резкой болью в ухе. Но последний день октября был так хорош, что у почтенного д-ра Такера не хватило духу держать его дома. Наняли дрожки и поехали в Булонский лес. По дороге Оскар несколько раз высаживался, чтобы выпить рюмку коньяку.

— Ты же знаешь, что это для тебя яд,— говорил Росс.— Ты просто себя убиваешь.

— А зачем мне жить, Робби?

Но, видя печаль друга, обнял его одной рукой.

— Довольно я уже надоедал миру. Англичане меня

терпеть не могут, французы тоже сыты по горло, и виноваты в этом англичане. Выставка не удалась. Англичане, которые приехали на выставку, увидели, что у меня еще есть во что одеться, что я не издох с голоду,— они обиделись и уехали. Если дальше будет так продолжаться, газеты объявят меня врагом страны и будут требовать, чтобы меня выслали из пределов Франции.

Он уже не мог оторваться от мыслей о смерти, хотя непохоже было, чтобы он думал о ней со всей прямотой, размышлял о ней до последнего дня жизни, даже в утро последнего дня. Как-то он стал рассказывать сон, в котором он видел себя среди умерших, ел и пил в их кругу.

— Уверен,— сказал Тернер,— что ты был жизнью и душой этого пира.

Когда в день Всех Святых Росс вернулся с кладбища Пер-Лашез, Уайльд спросил, выбрал ли он там место для него, и начал сочинять себе эпитафию.

— Робби,— улыбнулся он,— мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба Страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо: притворимся, Робби, будто мы не слышим.

Вдруг он помрачнел, стал жаловаться, что оставляет после себя долги, просил Росса уплатить хозяину отеля.

— Я умираю, как жил: не по средствам.

Росс написал об этом Дугласу, который охотился в Швейцарии. О состоянии здоровья Уайльда он сообщил в успокаивающих тонах. Бози ответил обратной почтой и приложил чек на десять фунтов. Уайльд, который в тот день принимал морфий и выпил бутылку шампанского, расплакался, как ребенок.

Появилась надежда на выздоровление. Во всяком случае, пока что опасений не было. Росс собирался отвезти свою мать в Ниццу. Когда он пришел проститься, Оскар попросил Тернера и сиделку оставить их одних.

— Не уезжай, Робби,— умолял он, всхлипывая.— Ты не знаешь, как я болен. Я чувствую в себе смерть. Если уедешь, я больше никогда тебя не увижу.

Росс счел это нервным возбуждением, успокоил его как мог и оставил на попечении Тернера.

Две следующие недели все шло к лучшему. Внезапно 26 ноября Оскар лег в постель, жалуясь на большую слабость,— казалось, ему трудно говорить. Он был раздражен, бранил сиделку, прислугу, Тернера такими словами, каких никто никогда от него не слышал. Есть ничего не хотел, потом начал бредить то по-английски, то по-французски, пытался встать, вырывался, пришлось его уложить силой. Д-р Такер созвал консилиум. На вопрос Тернера он ответил почти резко, чтобы скрыть собственное волнение:

— Meningitis gummosa[29].

Д-р Такер попросил Тернера и Дюпуарье подписать заключение консилиума.

— Это необходимо,— сказал он.— Пусть его сыновья знают, что у него был надлежащий врачебный надзор.

Росс не сразу поверил телеграммам Тернера. Когда же наконец приехал, лицо Уайльда было иссиня-бледным, дышал он тяжело, говорить не мог и только следил глазами за входящими. На вопрос Росса, слышит ли он его, понимает ли, Уайльд приподнял руку.

Росс привел священника. Случай был трудный, получить разрешение епископа уже не было времени, пришлось удовольствоваться свидетельством Росса, который принес клятву, что Уайльд уже много лет имел намерение принять католичество.

Отец Катберт Данн из ордена английских пассионистов еще колебался. Засунув руки в рукава рясы, он всматривался в движения пальцев, которыми больной отвечал на вопросы присутствующих. «Si es capax, si es dignus»[30],— перебирал он в

уме формулы условного отпущения. На него смотрели расширенные, но спокойные глаза. Они скользнули по паллию, по фиолетовой епитрахили, вдоль рясы, до ног в сандалиях, монах не увидел в них ни тревоги, ни сопротивления, он принял безмолвный этот взгляд за согласие, щедро наполнил его знанием веры, раскаянием — всем, что нужно, дабы войти в лоно вселенской церкви.

Дюпуарье поставил у кровати накрытый белой салфеткой столик, на нем два подсвечника и между ними распятие. Рядом, на серебряном блюде, лежало несколько комков ваты. Вынув из подсвечника свечу, отец Данн вложил ее в руку Уайльда. Дрожавшие пальцы не могли ее удержать, несколько капель воска упало на одеяло, но Дюпуарье, наклонившись над больным, подхватил свечу и не дал ей выпасть. Священник прочитал символ веры согласно булле Пия IV, а Росс, стоя на коленях, держал руку Оскара на Евангелии. Закончив, отец Данн с минуту прислушивался, точно ожидая ответа. Росс, не сводя глаз с друга, сказал:

— Так да поможет мне бог.

— Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis pecatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen[31].

В глазах Оскара появилось вполне сознательное любопытство, руки соединились и пальцы переплелись как для молитвы. После чтения «Индульгенции» священник отпустил ему грехи и осенил благословляющим крестным знамением. Больной глубоко вздохнул, попробовал улыбнуться, но лицо его вдруг застыло, рот резко сомкнулся. Все отошли от кровати, пропустив к ней сиделку.

Причастие он не мог принять. Когда больной успокоился, отец Данн приложил к его губам распятие, ок рЬпил его святой водой, вселяя надежду псалма, гласящего, что станет он белее снега. Наконец, прочитав молитвы, монах открыл сосуд с мирром и, погружая в него большой палец, помазал глаза, уши, ноздри, уста, ладони, ступни, дабы простились ему грехи, которые он совершал всеми пятью чувствами. После чего, шепча мблитву, отер пальцы о вату, бросил ее в огонь камина и омыл руки в воде, в которую Дюпуарье всыпал щепотку соли.

После ухода священника снова наступила тишина, наполненная мелкими, осторожными шорохами. Оскар собрал остаток сознания под прикрытые веки. Когда же опять открыл глаза, началось медленное отплытие от берега. Оклеенные желтыми обоями стены отдалялись, будто палевая земля, мебель и люди становились все меньше, застилались туманом. Вдруг в глазах у него помутилось, будто закачался под ним корабль, от

смертного холода пробежала дрожь, и в последний миг самосознания он почувствовал себя в чьих-то объятиях, которые подымали его вверх, несли.

Наняли вторую сиделку, потому что одна не могла справиться. Росс и Тернер провели ночь в Эльзасском отеле, на верхнем этаже, их несколько раз вызывали, опасаясь, что наступает смерть. К утру больной начал хрипеть. Глаза не реагировали на свет. Изо рта текли кровь и пена. Около полудня хрипение усилилось, оно напоминало скрип ржавого ворота. Росс взял Уайльда за руку и почувствовал, что пульс слабеет. Внезапно дыхание стихло, грудь поднялась в глубоком вздохе, и тело распрямилось — Уайльд скончался. Было два часа без десяти минут, 30 ноября 1900 года.

Час спустя, когда покойника обмыли и одели, а постель сожгли, Тернер, Росс и владелец отеля отправились в мэрию, оставив у одра г-жу Дюпуарье.

Весь остаток дня заняла бесплодная беготня по учреждениям, которые не желали признать эту кончину под чужим именем. Росс, видя, что отождествление Оскара Уайльда с Себастьяном Мельмотом не по силам французской бюрократии, обратился за помощью в английское посольство.

Утром следующего дня явился «врач умерших». Он отверг свидетельство д-ра Такера, стал выспрашивать, не было ли здесь самоубийства или отравления, и, услышав про чужое имя, раскричался, что отошлет тело в морг. Умилостивленный завтраком и гонораром, он все же подписал разрешение на похороны. Росс тем временем сумел собрать и припрятать все письма и рукописи, до мельчайшего клочка бумаги.

Привели двух монахинь-францисканок, чтобы они бодрствовали при покойнике. Одна из них положила ему на грудь медальон с изображением св. Франциска и надела на шею ладанку. Руки его лежали на распятии. Среди свеч и цветов лицо Уайльда глядело умиротворенным, только в уголках рта темнели точечки запекшейся крови. После краткого извещения в газетах явилось несколько парижских литераторов, две дамы в вуалях и множество англичан, записавшихся в книгу под чужими именами.

Росс целый день бегал по церквам, похоронным заведениям, цветочным магазинам, побывал в ратуше по поводу кладбища. Перед ним развернули карты кладбищ Пер-Лашез, Монмартра, Монпарнаса, указывая пальцем свободные места по соседству со знаменитыми могилами. Цены были очень высоки, не менее дорогим было кладбище Пасси, а покупая место на кладбище Белле виль, надо было платить за красивый вид, открывающийся с самой высокой точки Парижа.

— В таком случае придется нам отправиться далеко за город, — сказал чиновник и показал план кладбища в Банье, в далеком предместье за Монружем.

Росс купил участок в два метра длиной и полметра шириной на срок в пятьдесят лет. В отеле он застал камнетесов, специалистов по бальзамированию, по сниманию посмертных масок. Он всех спровадил, дал уговорить себя только на то, чтобы останки засыпали негашеной известью,— на случай эксгумации, если когда-нибудь удастся перенести тело на другое кладбище.

Лорд Дуглас приехал на следующий день, в воскресенье, когда гроб был уже закрыт.

В понедельник, 3 декабря, погода стояла дождливая. У отеля собралась небольшая кучка людей — стали считать и насчитали пятьдесят шесть человек. Процессия тронулась в девять часов. Первым шел за катафалком лорд Альфред Дуглас, держа в руке повязанный крепом цилиндр. Некоторые принимали его за сына умершего. На отдельной повозке везли двадцать четыре венка, несколько было без указания имен. В массе живых и искусственных цветов выделялся лавровый венок от Росса, над ним раскачивались подвески венка Дюпуарье, и ветер то и дело разворачивал большую широкую ленту с надписью «A mon locataire»[32].

Шествие остановилось в конце Рю-Бонапарт, гроб внесли в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Один из викариев отслужил заупокойную службу в капелле за главным алтарем, рядом с гробницей Джеймса Дугласа. Привратник нервничал, тряс связкой ключей, просил экономить свечи. Громкий его шепот заглушал чтение молитв у алтаря. Было темно, лицо Рафаэлева «Архангела» едва можно было различить. После службы отец Данн прочитал заупокойную молитву, хор запел «Dies irae»[33].

Несколько человек осталось в церкви, так как оказалось, что экипажей всего три. У пересечения бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель присоединился четвертый, с незнакомыми дамами. Когда проезжали Люксембургский сад, начался дождь, под раскрытыми зонтами легче было скрыться, смешаться с уличной толпой,— у Обсерватории уже не насчиталось бы и двадцати человек.

Дорога продолжалась полтора часа. После широких улиц и больших домов пошли бедные кварталы, которые за линией укреплений расползлись грязными улочками. Показались лавки с искусственными цветами для венков — из фарфора, стеклянных бус, шелка. От закусочной несло запахом жареного картофеля. Грязь стала более густой и желтой, люди шли по ней склонив головы, будто в задумчивости,— и почти неожиданно для всех показались за оградой деревья, аллеи, кресты.

Здесь уже ничего не цвело, кроме названий аллей. Кладбищенский сторож указал вознице катафалка дорогу к пятнадцатому участку, расположенному между аллеями кленов, акаций, рябин и вязов. Мокрые от дождя кресты стояли среди черных, голых деревьев, здесь и там еще виднелись букетик увядших цветов, пучок бессмертников, истлевшие ленты на свалившихся вен¬к а х— смерть здесь была бедная, памятью живых не избалованная, а чаще всего вовсе забытая.

Могильщики еще не успели приготовить яму, их лопаты выносили наверх запах сырой земли. Озябший от холода отец Данн говорил тихим, дрожащим голосом. Его слова заглушил стук комьев земли, падавших на крышку гроба. Поставив крест, у подножия уложили венки. Росс воткнул среди них табличку с фамилиями тех, кто был добр к Уайльду во время его заточения и в последние годы.

Священника усадили в экипаж. Около двух оставшихся экипажей возникло минутное замешательство. Лорд Альфред Дуглас, ни с кем отдельно не прощаясь, лишь приподняв цилиндр, пошел пешком по направлению к городу.

1928-1929 гг.

notes

Примечания

1

«Жребий брошен» *(лат.)*.

«День Господа» *(лат.)*.

3

«Ничего не совершить — это большое преимущество, но не следует им злоупотреблять» *(фр.)*.

4

«Наоборот» *(фр.)*.

5

«История вышивки и кружева» *(фр.)*.

«Ее милость» *(англ.)*.

«Созерцательной жизни» *(лат.)*.

8

«Подлинному искусству — Оскару Уайльду» (фр.).

9

«Наконец» *(фр.)*.

10

«Альманах лакомок, или Календарь питания» *(фр.)*.

11

«Искусство — это беспорядок» *(фр.)*.

«Замыслы» *(англ.)*.

13

«Он был король божьей милостью» *(фр.)*. Непереводимая игра слов: la grâce (милость) и la Grâce (благодать). *(Примеч. перев.)*.

14

«Если меня станут донимать вопросом, почему я его любил, чувствую, что это можно объяснить только так: потому что то был он, потому что то был Я» *(фр.)*.

15

«Милый мой мальчик» *(англ.)*.

16

Учитель жизни *(лат.)*.

17

Книгоиздательство Независимого Искусства *(фр.)*.

18

«Моему другу Пьеру Луису» *(фр.)*.

19

«Святая блудница» *(фр.)*.

20

«Как важно быть серьезным» *(англ.)*.

21

«Оскару Уайльду, позирующему в качестве содомита» *(англ.)*.

22

Красавец (*тур.)*.

23

Помощник *(англ.)*.

Стряпчий, поверенный *(англ.)*.

Торгового флота *(англ.)*.

«Правила бокса, составленные Куинсберри» *(англ.)*.

27

«Великое сатанинское творение преподобного Мэтьюрина» *(фр.)*.

28

«При дружеском безмолвии луны» *(лат.)*.

29

Гуммозный менингит *(лат.)*.

30

«Если ты способен, если ты достоин» *(лат.)*.

31

«Да смилуется над тобою всемогущий господь и, простив грехи твои, поведет тебя в жизнь вечную. Аминь» *(лат.)*.

«Моему жильцу» *(фр.)*.

«День гнева» *(лат.)*.